

С. 952
Б43

ISSN 0321-0359

изд. 16

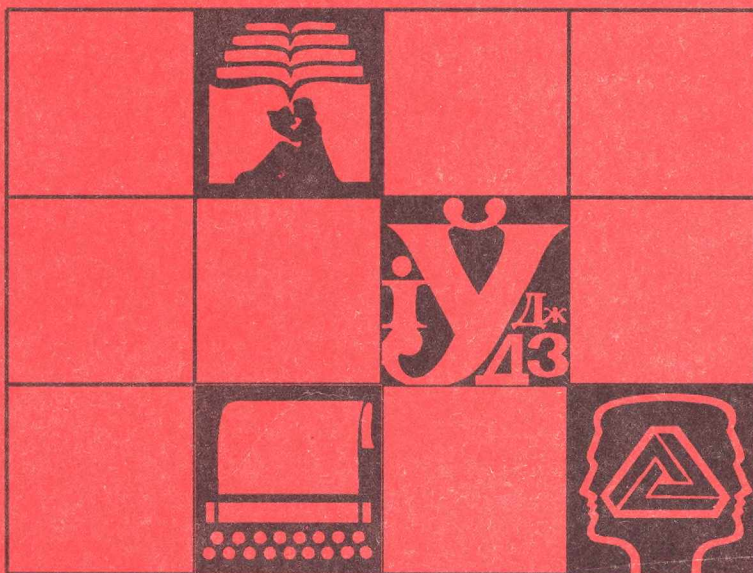
ВЕСНІК

Беларускага дзяржаўнага
універсітэта

СЕРЫЯ 4

Філалогія
Журналістыка
Педагогіка

3/2001



ЗМЕСТ

НАШЫ ЛАЎРЭАТЫ

Мечковская Н.Б. Три книги о языке, получившие премию Пичеты	3
---	---

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТА

Лявонава Е.А. Беларуская літаратура XX ст. і заходнееўрапейская асветніцкая традыцыя (У. Караткевіч і І.В. Гётэ)	9
Шпаковский И.И. Жанровое своеобразие рассказа Валентина Распутина «Видение» ..	13
Наталевіч В.Г. Шлюбная сімволіка на свята летняга сонцавароту ў еўрапейскай фальклорнай традыцыі	18
Смирнова О.А. Повествовательные структуры Киево-Печерского патерика	25
Дзянісавы Н.В. Праблемы аўтаперакладу і аўтарызацыі (на матэрыяле перакладаў рамана Івана Мележа «Мінскі напрамак»)	31
Лапцёнак І.Б. Праблема ўзнаўлення метрычнага вершавання (на матэрыяле перакладаў Язэпа Семязона і Уладзіміра Шатона паэмы «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага) ..	35
Гуліцкая Т.П. «Апокрысіс» (1597) Хрыстафора Філалета: стылёва-жанравая спецыфіка палемічнага твора	40
Капцэв В.А. Мотив Судьбы в драматургии Иннокентия Анненского	44

МОВАЗНАЎСТА

Рудэнка А.М. Мова інфармацыйных тэхналогій як сацыяльны дыялект рускай і чэшскай моў	50
Паляшчук Н.В. Аб семантычнай структуры дзеяслоўнай лексікі ў старабеларускім юрыдычным кодэксе «Трыбунал» (Вільня, 1586)	55
Прокопчук О.Г. Концепция инверсии в византийской теории тропов и фигур (трактат Георгия Хировоска «О поэтических тропах» (VI в.)).....	58
Зарембо О.С. Своеобразие церковнославянской орфографии в «еллинословенской» грамматике «Адельфотис» (Львов, 1591)	63
Мельникова О.Н. Концепт «время» как основа формирования значения долженствования (на материале восточнославянских языков)	69
Гушчава В.І. Аб семантычнай структуры і валентнасці лексемы <i>ramięc</i> у польскай мове	74
Слыхалова Н.Г. Соматические речения со значением удивления в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»	79

ЖУРНАЛІСТЫКА

Вараб'ёў В.П. Паліталогія журналістыкі: шляхі станаўлення	85
Патрэбін А.У. Штодзённыя газеты Беларусі: вызначэнне тэматычных прыярытэтаў у асвятленні эканамічнай праблематыкі	88

ПЕДАГОГІКА

Зыль Т.Е. Проблема изучения стиля писателя в методическом наследии и литературном образовании XVIII–XIX вв.	92
Хведченя Л.В. Теоретическое обоснование включения компонентов культуры в содержание иноязычного образования	98

РЭЦЭНЗІІ

Мячкоўская Н.Б. Bibliografia językosławstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992–1994	105
Казакова Т.П. С.Л. Гаранін. Шляхамі даўніх вандраванняў: Гістарычна-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII–XVI ст.	106
Кулеш Г.І. «STUDIA RUSSICA, XVIII»	107
Сянкевіч В.І. А.К. Киклевич. Лекции по функциональной лингвистике	109

ХРОНІКА

Зінкевіч А.В. Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беларуская і іншыя славянскія мовы: семантыка і прагматыка» (памяці прафесара А.Я. Супруна)	110
Алешка Т.В. V Міжнародная навуковая канферэнцыя «Славянскія літаратуры ў контексте свету»	111
Паказальнік артыкулаў, апублікаваных у 2001 г.	112

Нашы лаўрэаты

29 октября 2001 г. на торжественном заседании Ученого совета в связи с 80-летием Белорусского государственного университета были объявлены имена победителей университетского конкурса научных работ на соискание премий, учрежденных в память о двух выдающихся ректорах университета – первом ректоре академике АН СССР В.И. Пичете (1878–1947) (премия по социально-гуманитарным наукам) и академике АН БССР А.Н. Севченко (1903–1978) (премия по естественным наукам). Впервые премия им. В.И. Пичеты присуждена представителю филологического факультета: ее лауреатом стала профессор кафедры теоретического и славянского языкознания Нина Борисовна Мечковская, представившая на конкурс три учебных пособия. Это такие книги: **"Социальная лингвистика"** (Пособие для студентов гуманитарных вузов и учащихся лицеев). М.: Аспект Пресс, 1994. 206 с. (2-е изд., испр., 1996; 3-е изд., испр., 2000; совокупный тираж 20 тыс. экз.); **"Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий"** (Учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Филология", "История", "Культурология", "Философия", "Теология", "Социальная психология"). М.: ФАИР, 1998. 352 с.; тираж 10 тыс. экз.; **"Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков"** (Допущено Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов филологических специальностей высших учебных заведений). Мн.: Амалфея, 2000. 368 с.; тираж 2700 экз. Книга "Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков" была издана также в Москве как учебное пособие для студентов филологических и лингвистических специальностей, рекомендованное Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по педагогическому образованию (М.: Флинта, Наука, 2001. 312 с.; тираж 3000 экз.).

Поздравляя Н.Б. Мечковскую с присуждением ей премии им. В.И. Пичеты, редакция журнала "Веснік БДУ" обратилась к лауреату с просьбой представить книги, отмеченные наградой, на страницах журнала.

Главный редактор В.Г. Рудь

Н.Б. МЕЧКОВСКАЯ

ТРИ КНИГИ О ЯЗЫКЕ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРЕМИЮ ПИЧЕТЫ



Мечковская Нина Борисовна – доктор филологических наук, профессор кафедры теоретического и славянского языкознания. Область научных интересов – социальная типология языков, история филологии. Автор около 190 публикаций, в том числе и следующих книг: "Общее языкознание", "Ранние восточнославянские грамматики", "Словенский язык", "Общее языкознание: Сущность и история языка", "Социальная лингвистика", "Общее языкознание: Структура языка. Типология языков и лингвистика универсалий", "Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий", "Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков".

Автор представляет цикл своих учебных пособий для вузов, которым в 2001 г. была присуждена премия имени академика В.И. Пичеты за достижения в области социально-гуманитарных наук.

The author, Picheta prize-winner y. 2001 for the achievements in the humanities, presents a series of her original books for university students that have got the Prize.

Три книги, представленные на конкурс имени академика В.И. Пичеты, можно рассматривать как цикл авторских учебных пособий для вузов по проблеме "Язык и общество". Думаю, рассуждать о важности и интересности этой темы не стоит – если людям что-то в языке интересно, то это именно "Язык и общество".

В 1993 г. рукопись "Социальной лингвистики" вошла в число победителей на открытом для авторов всех стран СНГ конкурсе учебных пособий Института "Открытое общество" в России (Фонд Джорджа Сороса). Главным призом конкурса была возможность издать книгу, и чем выше были оценки жюри, тем выше тираж. "Социальная лингвистика" была отнесена к высшей категории и издана максимальным для вузовских работ тиражом.

Что касается издательской стороны дела, то я горжусь не только тем, что все три книги были изданы в Москве и при этом "Социальная лингвистика" трижды, а "Типология" – с грифом, но и тем, что в Москве книги были изданы без государственных дотаций и приносили прибыль моим издателям. Товарность продукции – лучшее свидетельство ее востребованности.

1. "Социальная лингвистика". Одна из заветных мыслей этой книги вот такая: "Человек не находится в плену у языка. Язык – для человека и общества, а не общество и человек для языка. Язык – это только средство общения, а не его содержание". Лингвист почувствует в этих тезисах полемику со многими течениями в современной философии языка, но я хочу сказать, что слова "*Язык – для народа, а не народ для языка*" принадлежат университетскому химику, другу моего мужа, когда мы однажды у костра спорили на темы социальной лингвистики.

Думаю, читатели этой книги без труда почувствуют, что ее автор – родом из Беларуси. Это видно и по частоте обращения к фактам белорусского языка, к нашим проблемам (например, к "трасянке"), к истории литературного белорусского языка. Достаточно сказать, что уже в оглавлении книги представлен специальный раздел о Беларуси: "Пример сложной языковой ситуации: языки на белорусской этнической территории в Великом княжестве Литовском". Уверена, что моя "Социальная лингвистика" – это редкое из тех напечатанных в Москве учебных пособий, где о Франтишке Скорине говорится раньше и не меньше, чем об Иване Федорове (который стал печатать книги почти на полвека позже Скорины).

Хочу обратить внимание читателя на биографические экскурсы о светлых личностях в истории решения социально-языковых проблем – в книгах и в жизни (Эразм Роттердамский, Скорина, Иван Федоров, Гумбольдт, Буслаев, Потебня, Бодуэн де Куртенэ) и особенно – на очерк "*Бодуэн де Куртенэ о принципах национально-языковой политики*". Для меня в свое время были потрясающим открытием написанная в 1906 г. книга Бодуэна "Национальный и территориальный признак в автономии" (опубликовать ее удалось только в 1913 г.) и еще одна его работа 1916 года издания. В 1906 г. Бодуэн писал, что национальное угнетение в царской России приведет к заслуженной гибели империи. Удивительным, однако, было даже не это предсказание, а то, что в начале века Бодуэн сформулировал то понимание национальных отношений и прав человека и те цели мирового сообщества в области национальных отношений, которые в 1948 г. вошли в основные документы ООН (приоритет прав человека над правами этноса и государства; индивидуально-субъективный характер этнического самоопределения человека; опасность аргумента "исторических прав" и стремления к "чистым" (однонациональным) автономиям и мн. др.).

2. "Язык и религия: Лекции по филологии и истории религий". Книга писалась тогда, когда, как шлюзы, открылась возможность читать все обо всем ранее запретном или полузапретном. В то же время эта книга связана с моей докторской диссертацией (1986) о восточнославянских грамматиках XVI–XVII вв. Именно тогда, вчитываясь в грамматики Мелетия Смотрицкого и Лаврентия Зизания или уясняя, о чем спорили "грекофилы" и "латинствующие", я увидела совсем другое, чем сейчас, отношение к слову – тре-

петное отношение, потому что это было религиозное отношение – с верой в то, что по "неправильным" книгам "н е с п а с е ш ь с я".

В лекциях "Язык и религия" рассмотрены связи языков и древнейших религий мира (ведическая религия, иудаизм, конфуцианство, буддизм, христианство, ислам). Показаны особенности религиозного общения в различных культурах, влияние религии на историю языков, фольклора, литературных и филологических традиций. Читатель узнает о церковных конфликтах, связанных с переводом и толкованием священных книг, о мифопоэтических истоках ранней и современной философии языка.

Основную идею книги можно сформулировать так. Сакрализация слова и буквы Писания уходит в прошлое. Человечество прошло многовековую школу филологической выучки "возле Писания" и "над Писанием". Вчитываясь и вглядываясь в каждое слово и каждую букву Писания, человечество научилось с необходимой точностью понимать мысль, облеченную в слово, и выражать в слове новую мысль. Люди все больше уверены, что священны не буквы и слова, а именно с м ы с л ы Откровения, и эти смыслы могут быть выражены и поняты на любом из языков человечества.

3. "Общее языкознание: Структурная и социальная типология языков". Эта книга из той области языкознания, у которой, по-моему, самые хорошие перспективы в будущем. Лингвистическая типология – это настоящее о б щ е е языкознание, наука не об одном конкретном языке, но о Языке людей. В книге представлен лингвистический ландшафт современного мира: многообразие структур, функций, исторических судеб языков; рассмотрены культурно-религиозные, коммуникативные, политологические, правовые факторы в жизни языков, определяющие их социальную типологию. Определение *социальный* здесь понимается широко – как 'относящийся к теме "Язык и общество", включая все виды взаимоотношений между языком и обществом (язык и культура, язык и история, язык и этнос, и церковь, и школа, и политика, и массовая коммуникация и т. д.)'. Таким образом, "социальная типология языков" – это типология функциональная, культурно-религиозная, коммуникативная, политологическая, правовая.

В разделе "Лингвистические универсалии" систематизированы наиболее значительные явления, представленные во всех языках мира и обусловленные единством их общечеловеческой природы. Универсалии позволяют отчетливо увидеть родовое, общечеловеческое сходство тысяч языков на бесконечно разнообразной лингвистической карте нашей планеты – единый на всех широтах и под всеми флагами Язык людей.

Думаю, все три книги имеют основание называться авторскими учебными пособиями. В них есть разделы, которые в учебной литературе СНГ появились впервые. Например, впервые в пособие для вузов и лицеев (имею в виду "Социальную лингвистику") включены разделы "Язык и религия", "Языковые ситуации", "Национально-языковая политика". Что касается книги "Язык и религия", то в ней сочетаются исследовательские и лекционные принципы. Она будет полезна как пособие по разным спецкурсам и спецсеминарам, в том числе междисциплинарного характера, – например, при изучении и исследовании мифологии и фольклора, психологии религиозного сознания и истории книжной культуры и философии языка. В "Общем языкознании" из двух "ветвей" лингвистической типологии – структурной и социальной – больше внимания и печатной площади отведено социальной типологии. Это более новый, менее разработанный и перспективный раздел общего языкознания. В социальной типологии языков особенно важны и ответственны темы о национально-языковых отношениях и языковой политике. В университетской подготовке гуманитариев проблема "Язык и нация" – примерно то же, что курс врачебной этики в медицинских институтах: предмет, необходимый для формирования нравственности специалиста в

вопросах, требующих профессионального понимания и знаний. Поэтому, считая раздел о языковой политике принципиально важным для гражданской позиции лингвиста и, следовательно, значимым для характеристики книги, приведу в порядке иллюстрации один фрагмент из этого раздела (§ 67. Профили языковой политики).

В политике, в том числе в языковой политике (далее – ЯП), есть своя логика (корреляции) в составе и характере разноуровневых компонентов ЯП – концепций, целей, стратегий и тактик; юридической и административной регламентации языковых проблем социума; экономических мер осуществления ЯП, а также степени "прозрачности" для общества финансовых аспектов ЯП. Эта логика обусловлена, с одной стороны, онтологией языка в качестве особого измерения (dimension) личности и социума, а с другой – имеет политологическую и социально-психологическую природу.

Для типологии ЯП наиболее существенны две характеристики социума: 1) количество сосуществующих языков (и народов; иначе говоря, в случае неодноязычия, будет иметься в виду именно этническое, а не так называемое культурное двуязычие / многоязычие); 2) политическое устройство общества. Ниже основные профили ЯП будут представлены в достаточно общем (типологическом) плане.

Первая ось детерминации: одноязычие или двуязычие (многоязычие) социума. В однопациональной стране языковая политика принадлежит сфере образования и культуры. В стране, где живут несколько разноразличных народов, языковая политика – это прежде всего часть межнациональных отношений и компонент национальной политики государства, партий, движений. Естественно, что те культурно-образовательные задачи, которые решает языковая политика в одноязычной стране, должны как-то решаться и в условиях этнического многоязычия, однако здесь они отодвигаются каждым отдельным народом на "второй план" как "внутренние" заботы отдельных народов о своих языках (в ряду забот о развитии своей культуры и образования). Однако для каждого народа на первом и более ответственном месте стоит его "внешняя" языковая политика – в сфере межнациональных отношений. Острота же национально-языковых вопросов нередко ведет к значительной политизации и "внутренних" (культурно-образовательных) забот национального коллектива о своем языке. В табл. 1 суммированы различия в языковой политике в зависимости от одноязычия или двуязычия социума.

Вторая ось детерминации: политический климат социума. В обоих профилях языковой политики (и при одноязычии, и при многоязычии) имеется сильная зависимость от характера той политической системы, частью которой они являются. Эта зависимость четко видна при сравнении языковой политики в полярных политических системах: с одной стороны, открытое (демократическое и либеральное) общество, а с другой – закрытое (тоталитарное или авторитарное) государство. Указанную оппозицию ("открытое – закрытое общество") следует понимать "типологически": в качестве двух типов государств (примерно с теми же основаниями, с какими лингвист говорит об оппозиции "синтетический – аналитический языковой тип"). В реальности конкретные государства занимают то или иное свое место на оси между полярными точками, в разной степени приближаясь либо к идеалу открытого общества, либо к пугалу тоталитарного режима (каким оно предстает в антиутопиях Евг. Замятина или Дж. Оруэлла).

Поскольку наполнение языковой политики в условиях одноязычия и неодноязычия различно, то различия в языковой политике, связанные с различиями в политическом устройстве, будут представлены в отдельных таблицах: для одноязычной ситуации – в табл. 1, для многоязычной – в табл. 2.

Таблица 1

Различия в языковой политике при одноязычии в несхожих политических условиях

Открытое (демократическое и либеральное) общество	Закрытое (тоталитарное или авторитарное) общество
1. Цель ЯП – гармонизация общения, создание условий для более полного владения языком и повышения речевой культуры каждого человека	1. Цель ЯП – языковое единообразие общества; повышение контроля за процессами коммуникации (включая языковой уровень) и зависимости каждого человека от власти
2. Функциональные и гибкие (дифференцированные) оценки инноваций; нелюбовь к запретам; поощрение индивидуального своеобразия в использовании экспрессивно-стилистических возможностей общенародного языка	2. Жесткая кодификация языковых норм, сужающая диапазон коммуникативных возможностей языка; стремление политизировать и идеологизировать вопросы правильности языка и культуры речи; нелюбовь к индивидуальным особенностям речи и ярким языковым личностям; поощрение безликих "средних" стилей письма и устной речи
3. Уважение к диалектам и терпимость к диалектизмам в литературной речи	3. Пренебрежительное отношение к диалектам; борьба с диалектизмами в художественной литературе
4. Широкая трактовка временных границ современного языка; развитие в обществе интереса к истории языка и вкуса к старинным речениям	4. Равнодушие к историческим "запасам" языка: в условиях узкого нормативизма для обезличенной "усредненной" речи исторические краски не нужны
5. Отсутствие пуристических установок	5. Языковой пуризм
6. Отсутствие языковой цензуры в сфере литературного творчества; поощрение творческого отношения к языку, интерес к языковым экспериментам в искусстве	6. Языковая цензура, приписывающая себе государственно-политическую значимость

Таблица 2

Различия в языковой политике при многоязычии в несхожих политических условиях

Открытое (демократическое и либеральное) общество	Закрытое (тоталитарное или авторитарное) общество
1. Цель ЯП – гармонизация этнических интересов и межэтнических отношений; сохранение этнокультурного и языкового разнообразия общества; создание условий для дальнейшего индивидуального развития этносов и языков социума; тенденции к деполитизации этноязыковых проблем и отношений	1. Цель ЯП – усиление государства и его власти над всеми областями жизни; стремление ослабить (в перспективе – нивелировать) этноязыковые различия групп населения; этноязыковая ассимиляция под флагом политической, хозяйственной и идеологической консолидации; с усилением тоталитаризма "национального государства" его "националистичность" ослабевает, а "государственность" усиливается
2. Этнокультурный и языковой плюрализм и полицентризм; тенденции к федерализации (регионализации, автономизации и т. п.) при деполитизации отношений с соседними землями и федеральным центром	2. Тенденция к централизации и моноцентризму; открытое или скрытое (не всегда декларируемое, но фактическое) предоставление преимуществ одному ("государственному") этноязыковому коллективу
3. Равноправие этносов, создание юридических гарантий для сохранения этноязыкового разнообразия социума	3. Правовая дискриминация "негосударственных" этносов; фактическое ущемление имеющих прав этнических и языковых меньшинств
4. Приоритет прав человека над правами нации и государства; уважение человеческого достоинства, недопущение дискриминации по этническому, языковому, религиозному признакам; защита языковых и этнических меньшинств	4. Органическая потребность в наличии "образа врага" питает идеологию шовинизма и ксенофобии по отношению к языковой и этнокультурной "инаковости"

Хотя профили языковой политики в зависимости от одноязычия или многоязычия по социальному рангу и характеру решаемых задач существенно несхожи, однако по своей политической направленности они обнаруживают принципиальную общность. Таким образом, выступают два разных профиля языковой политики: один – в обществе открытом (демократическом и либеральном) и полярно несхожий – в обществе закрытом (тоталитарном или авторитарном), что показано в обобщающей табл. 3.

Профили языковой политики в полярно различных политических системах		
Тип языковой ситуации	Типологические черты языковой политики	
	В открытом (демократическом и либеральном) обществе	В закрытом (тоталитарном или авторитарном) обществе
Одноязычие	1. Отказ от политизации и идеологизации задач 2. Стремление сохранить разнообразие; уважение к индивидуальному, особенному, маргинальному 3. Плюрализм, гибкость, толерантность оценок (при кодификации)	1. Вопросам кодификации и культуры речи приписывается политический и идеологический характер 2. Склонность к унификации и/или к жесткой иерархичности оценок 3. Категоричность и склонность к консервации оценок и решений (при кодификации)
Этническое двуязычие (или многоязычие)	1. Стремление уменьшить политизированность задач и методов ЯП 2. Равноправие этносов и языков 3. Этноязыковой плюрализм и полицентризм (или децентрализация) 4. "Человеческий" масштаб критериев ценности	1. Стремление усилить государственно-политический характер ЯП 2. Привилегированное положение одного этноса и языка 3. Склонность к централизму и унитаризму 4. "Государственный (или национально-государственный)" масштаб оценок

* * *

Заканчивая презентацию своих трех книг, я хочу добрым благодарным словом вспомнить тех, кто меня учил, и прежде всего основателя нашей кафедры теоретического и славянского языкознания Адама Евгеньевича Супруна, и тех, кого сейчас выпадает учить мне, – студентов и аспирантов, иногда заходящих на мои лекции и семинары. В конечном счете эти книги, как и лекции, – адресованы им. Мысли о тех, кто будет по этим книгам учиться, были для меня главным стимулом их написать. Здесь мне приходит на ум с аспирантских лет запомнившаяся фразочка из Эрвина Штризматтера: *"Она была учительницей: рассказывала другим то, что знала сама"*.

Літаратуразнаўства



Е.А. ЛЯВОНАВА

БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА XX ст. І ЗАХОДНЕЕЎРАПЕЙСКАЯ АСВЕТНІЦКАЯ ТРАДЫЦЫЯ (У. КАРАТКЕВІЧ І І.В. ГЁТЭ)

В статье речь идет о рецепции белорусской литературой XX в. эстетики западноевропейского Просвещения. Проблема исследуется на материале трагедии И. Гёте "Фауст" и творчества В. Караткевича.

This article is about Belarusian literature's perception of the West European Enlightenment's aesthetics. The investigation of this problem is realized on materials of I.V. Gete's tragedy "Faust" and works of U. Karatkevich.

Адной з самых актуальных праблем беларускага літаратуразнаўства з'яўляецца, несумненна, вывучэнне роднай літаратуры ў кантэксце сусветнай. Важны аспект гэтай праблемы – прысутнасць у беларускай літаратуры XX ст. філасофіі і эстэтыкі заходняга Асветніцтва, якое паводле айчыннага культурнага досведу было ўспрынята на Беларусі як адна з самых уплывовых этыка-эстэтычных сістэм. Прадметам рэцэпцыі ў самых розных яе праявах стала творчасць такіх славутых асветнікаў, як Бамаршэ, Вальтэр, Русо, Бёрнс, Бюргер, Шылер, Свіфт і многія іншыя. На працягу двух з паловай стагоддзяў іх творы чыталіся на Беларусі ў арыгінале і ў перакладах на беларускую, рускую, польскую мовы, выдаваліся, ставіліся на сцэнах тэатраў, стымулявалі праблемна-тэматычныя і філасофска-эстэтычныя пошукі беларускіх аўтараў.

Асноўная прычына пільнай увагі да заходняга Асветніцтва, мусіць, у тым, што задачы, некалі пастаўленыя асветнікамі, і сёння, на парозе новага тысячагоддзя, не страцілі зладзённасці. Актуальнай застаецца ці не галоўная для Асветніцтва праблема чалавечай прыроды, суадносін у чалавеку біялагічнага і цывілізацыйнага – праблема, што пацягнула за сабой канцэпцыі "натуральнага чалавека", "свабоднага чалавека" і да т. п. Надзённыя праблемы выхавання асобы, гістарычнай свядомасці і памяці, узаемадачыненняў рацыянальнага і пачуццёвага. Як ніколі раней, актуалізавалася пытанне стасункаў чалавека з прыродай.

Адзін з найвялікшых нямецкіх асветнікаў, традыцыя беларускай рэцэпцыі якога даўня і трывалая, – І.В. Гётэ. Дастаткова грунтоўна ўкараніўся ён і ў беларускую літаратуру XX ст. Неаднойчы згадваюць асобу і творчасць Гётэ М. Багдановіч і Б. Тарашкевіч. Беларускія даследчыкі гавораць пра ўплыў Гётэ на творчасць Я. Купалы і Я. Коласа, прачытваючы, напрыклад, у рэчышчы гётэўскай традыцыі купалаўскія драматычныя паэмы "Адвечная песня" і "Сон на кургане", паэму "Яна і я", коласаўскія "Казкі жыцця" і "Новую зямлю".

Шматстайныя праявы глыбокай цікавасці да Гётэ змяшчае ў сабе спадчына Уладзіміра Караткевіча. Вядома, што Караткевіч быў надзвычай усцешаны беларускім увасабленнем гётэўскага "Фаўста", здзейсненым В. Сёмухам, і ўхваліў гэты пераклад у эсе "І наш Фаўст" (1978): "Пераклад "Фаўста"

– рэч, бадай, немагчыма складаная... Дыхаць жыватворным, але высокім паветрам яго горных вяршынь можа не ўсякі". Далей – канстатацыя: "Цяжкая праца выканана дасканала..." (Караткевіч 1991, VIII, кн. 2, 407).

Аб тым, як многа значылі для Караткевіча творы Гётэ, менавіта "беларускі" Гётэ, "беларускі" "Фаўст", сведчыць сам пісьменнік: ён чытаў (яшчэ ў пачатку 1960-х гг.) і першы варыянт перакладу трагедыі, і наступны, і, нарэшце, апошні – рэч "скончаную і адшліфаваную", у якой "перакладчык дасягнуў дзіўнага: з намі гаворыць вялікі Германец, але адначасова гэта гаворыць Беларус, што выказвае думкі Гётэ, як выказаў бы іх ён, але па-беларуску" (Караткевіч 1991, VIII, кн. 2, 409). Варта заўважыць, што паводле ўласнага прызнання Караткевіч юнаком марыў "калі-небудзь уззяцца за яго (пераклад "Фаўста". – Е. Л.) самому" (Караткевіч 1991, VIII, кн. 2, 407), і толькі з перакладам В. Сёмухі гэтыя планы адпалі.

Ёсць важкія падставы гаварыць і пра ўплыў Гётэ на творчасць самога Караткевіча, прычым на розныя яе складовыя – ад філасофіі да паэтыкі. Пераззовы з Гётэ даюць аб сабе знаць у такіх творах, як "Хрыстос прызямліўся ў Гародні", "Ладдзя распачы", і іншых, у многіх вершах. Пры гэтым філасофска-эстэтычная роднасць часам проста ўражвае.

Звернемся, напрыклад, да знакамітага верша Гётэ "Ці знаеш край..." ("Kennst du das Land..."), перакладзенага на беларускую мову С. Ліхадзіеўскім:

Ці знаеш край, дзе стаў лімон цвісці,
Палаюць апельсіны ў лісці...
Дзе мяккі ветрык з-пад нябёс імчыць,
Высокі лаўр і ціхі мірт стаіць,
Ці знаеш ты?
Туды, туды
Хадзем з табой, мой любы, назаўжды!
(Ліхадзіеўскі 1962, 140).

На наш погляд, топас менавіта гэтага верша прысутнічае ў вершы Караткевіча "Старажытны беларус", напісаным у 1984 г. і ў тым жа годзе апублікаваным у кнізе "Быў. Ёсць. Буду". Спашлёмся на строфы, дзе актуалізуюцца менавіта матывы Гётэ:

І успываюць за парогам
Краін далёкіх міражы.
Як сэрца цягнецца ў дарогу,
Як прагнуць ногі зем чужых.
Туды! Туды! З няпэўнай картай...
(Караткевіч 1987, I, 264).

Эстэтычная пераемнасць засведчылася тут нават у фармальна-відавочных, вербальна рэалізаваных адсылках да Гётэ: "Туды, туды..." у нямецкага паэта (у арыгінале "dahin, dahin") і "Туды! Туды!" у беларускага, у агульных вобразах – сімвалах зямлі заповітай: "...край, дзе... // Высокі лаўр..." у Гётэ і "Пад лаўрамі чужынскі рай..." у Караткевіча. Дастаткова і алюзіяных, зашыфраваных перазоваў з Гётэ ў паэтыцы Караткевіча. У той жа час трансфармуецца пафас твора; і праз назву верша, і праз змест у цэлым прыўносіцца беларуская ментальнасць, рэпрэзентуецца лёс беларускага народа і, рызыкну меркаваць, яго канкрэтных, аддаленых у часе прадстаўнікоў, гістарычных асоб, шукальнікаў "ісціны на сей зямлі", – Францыска Скарыны, напрыклад:

На хаты ў прывідах вішнёвых
Глядзіць, і іх не бачыць ён...
"Хоць ты адкрыў мне тое Слова,
Святы Настаўнік закон!

Адкрыў не верай ці бязвер'ем,
 Не так, як Мойзасу калісь,
 Як звездаць Словам, Весам, Мерай,
 Што ісціна на сей зямлі?
 Ў чым чалавечнасці адзнакі,
 За кім ісці, каго маліць,
 Ці багахульстваваць, ці плакаць,
 Ці кнігі на стагнах паліць?..

(Караткевіч 1987, I, 263).

І змест, і пафас верша Караткевіча вымушаюць згадаць гісторыю яшчэ адной беларускай – а менавіта купалаўскай – адаптацыі верша Гётэ. Да-следчыкі не без падстаў лічаць, што верш Ю.І. Крашэўскага "Да..." ("Znasz li ten kraj..."), перакладзены з польскай Я. Купалам паводле аўтографа ў 1919 г. і апублікаваны ў 1920-м, узыходзіць, у сваю чаргу, якраз да ўжо цытаванага ў перакладзе С. Ліхадзіеўскага верша Гётэ "Ці знаеш край...". Звернемся да купалаўскага перакладу:

Ці ты знаеш старонку,
 Край магілаў, курганаў,
 Дзе па небе ўдагонку
 Ходзяць хмары, туманы;

Дзе крывёю, слязамі
 Рэчка рэчаньку гоніць;
 Поле ўкрыта касцямі,
 Лес магільна гамоніць?

Край бяды, край напасцяў
 Вабіць люд свой бадзячы;
 Ён мілей нам ад шчасця,
 Мы з ім, ён з намі плача

(Купала 1974, IV, 412).

Відавочна, у вершы Ю.І. Крашэўскага і адпаведна ў купалаўскім перакладзе змененымі аказаліся, згодна з задумай польскага творцы, не толькі форма гётэўскага верша, але і яго змест, і яго пафас: не сонечна-цёплы край лаўраў і лімонаў, а пахмурна-тумановая старонка магіл і курганаў "мілей ад шчасця" лірычнаму герою верша Ю.І. Крашэўскага. Гэтаксама і краса сваёй "зямліцы" мілей за "чужынскі рай" герою верша Караткевіча:

Калі ж абрыдне – Божа мілы! –
 Пад лаўрамі чужынскі рай,
 Прыдумаць бронзавыя крылы,
 Каб адляцець у праўды край
 І сесці й піць красу зямліцы,
 Якой ты гонар, моц і шчыт...

(Караткевіч 1987, I, 264).

Перакананне такое, што твор Караткевіча паяднаў, па-мастацку сінтэзаваў паэтыку ўласна гётэўскага верша і філасофію, настрой, пафас інтэрпрэтацыі гэтага верша Ю.І. Крашэўскага і Я. Купалы.

Яшчэ адзін прыклад верша Караткевіча, арыенцірам у стварэнні якога мог у пэўнай ступені паслужыць "Фаўст" Гётэ, і найперш вобраз Мефістофеля, – гэта верш "Дэман". Што "Дэман" быў у нейкай меры генерыраваны трагедыяй Гётэ, можна сцвярджаць з вялікай доляй верагоднасці. Верш апублікаваны ў 1984 г., але напісаны паводле аўтографа ў сакавіку 1962 г., прыкладна тады, калі Караткевіч пазнаёміўся з першым варыянтам перакладу "Фаўста" на беларускую мову В. Сёмухі. Зразумела, магчыма, і іншае: верш беларускага паэта – не свядомае, так бы сказаць, "цытаванне" аднаго

з найбліскачых, найскладанейшых вобразаў трагедыі Гётэ, а плён таго, што Дз.С. Ліхачоў назваў "канцэптасферай", а Ю. Лотман – "семіятычнай памяццю культуры". Няма сумнення, што вобраз Мефістофеля ўдзельнічаў у задуме Караткевіча. Дэман і гётэўскі Мефістофель надзвычай блізкія па сваёй мастацкай структуры: абодва – багаторцы, абодва – істоты дваістыя. Вядома, што менавіта Мефістофель прыцягваў увагу Караткевіча – найбольш з усіх персанажаў трагедыі Гётэ, менавіта ён бачыўся Караткевічу найвялікшай удачай перакладчыка В. Сёмухі. І нарэшце, менавіта як істоту дваістую, цынічна-нахабную, злосную, але адначасова і дзёрзка-вясёлую, нават дабрачынную – найперш сваімі правакацыямі на пошук, на рух, акрэсліць Караткевіч гётэўскага Мефістофеля ў эсэ "І наш Фаўст": "Уладар дзіўнай, але цалкам натуральнай дыялектыкі: жыць – каб адмаўляць. Частка цемры, якая спарадзіла святло... ён – гэта скепсіс, гэта адмаўленне старога, пробы камень чалавечай думкі і стымулятар чалавечага постулу, а значыць, неабходная частка нас саміх" (Караткевіч 1991, VIII, кн. 2, 410–411). Прыгадаем словы, якія мы чуем з вуснаў самога Мефістофеля ў адказе на пытанне Фаўста: "Дык хто ж ты?" – "...Частка сілы той ліхой, / Дабро ўтвараецца з якой..." (Гётэ 1991, 53).

Канцэптуальна важна, што Дэман Караткевіча таксама з'яўляецца двойніком чалавека, "неабходнай часткай нас саміх":

Позняю ноччу з бяссылымі зорамі стылымі,
Калі ў глыбокіх дварах паміраюць вятры, –
Сеў на акно чалавек з кажановымі крыламі,
Месяц і зоры гусцеючым ценом закрыву...

– Хто ты? – спытаў у яго.

– А нашто табе ведаць аб гэтым?

– Што ты?

– Я кветка і зорка. Пагоня і бег.

– Зараз адкуль?

– Я... забыўся на тыя планеты,

Дзе аблякаў мае крылы агонь, дзе завейваў іх снег...

(Караткевіч 1987, I, 293).

Паўторамся: рэцэпцыя Караткевічам гётэўскай спадчыны досыць важкая і чакае далейшага вывучэння. Відавочна і тое, што Караткевіч – далёка не адзіны беларускі мастак слова, які зведаў уплыў гётэўскага генія на свае эстэтычныя пошукі. Асабліва адчувальная філасофска-эстэтычная прысутнасць Гётэ ў беларускай літаратуры, культуры ў апошнія два дзесяцігоддзі. Меў рацыю нямецкі вучоны Ганс Ауэрсвальд, калі ў дыялогу з Алегам Лойкам канстатаваў: "Думаю, што ў беларусаў ёсць зараз павышаная цікавасць да Германіі ўвогуле і да яе паэзіі ў прыватнасці" (На шляху 1997, 100), – як меў рацыю і А. Лойка, калі гэтую з'яву ў Беларусі патлумачыў наступным чынам: "...нельга ж адчуваць сябе ў паэзіі самазацверджаным. Таксама ж думаць, што беларуская паэзія можа мець будучае без вяртання да Гётэ, Шылера, а цераз іх у Адраджэнне, у антычнасць – гэта самагубства" (На шляху 1997, 100). Словы гэтыя ўспрымаюцца цалкам ва ўнісон сказанаму Караткевічам: "Не можа паўнакроўна жыць літаратура без Шэкспіра, Дантэ, Гётэ, якія гучаць на яе мове" (Караткевіч 1991, VIII, кн. 2, 407).

Дарэчы, А. Лойка, тлумачачы прычыны ўласнага звяроту да паэзіі Гётэ, канстатуе не толькі сваю перакладчыцкую цікаўнасць, але і больш шырокую, імпульсаваную творчымі пошукамі: "З перадумоў а priori памятаю цягу да балад Гётэ, да яго рамантызму, а, па-другое, цераз Гётэ я шукаў дарогі ў свет блізкаўсходняй паэзіі. Мне вельмі цікавіў той мост, які еўрапеец Гётэ перакінуў на Усход сваім "Заходне-ўсходнім дываном". З беларусаў у гэтай цікавасці я, відаць, быў першы, і мне як чалавеку ўвогуле імпанавала і імпануе агульналюдскасць паэзіі Гётэ..." (На шляху 1997, 102–103).

Пэўныя складовыя эстэтыкі Гётэ прысутнічаюць і ў вершах іншых сучасных беларускіх паэтаў. Да прыкладу, І.Ф. Штэйнер знаходзіць гэтую прысутнасць у паэзіі У. Някляева: "Атмасфера безвыходнасці, смяротнага адчаю, бо з'явіліся ўжо ракавыя знакі, цалкам вызначае баладу У. Някляева "Леснічоўка", што дазваляе правесці аналогіі са славутым "Лясным царом" І. Гётэ, заснаваным на "каралеўскім" матыве сусветнай баладыстыкі" (Штэйнер 1993, 224).

Варта дадаць: Гётэ актуальны для нас яшчэ і таму, што, як і ён, мы жывём на злome эпох, на скрыжаванні не толькі стагоддзяў, але і тысячагоддзяў, у часе крызісным, калі асабліва моцна адчуваецца патрэба ў апірышчы, ва ўпарадкаванні свядомасці, уяўленняў пра мінулае і будучае. Усё выразней і актуальнасць разваг Гётэ пра "сусветную літаратуру". Следам за Вяч. Іванавым мы маглі б зазначыць: "Сапраўды можа падацца, што, падводзячы з Шылерам рахункі свайму вялікаму стагоддзю, Гётэ, сам таго не ведаючы, узіраўся скрозь імглу надыходзячага новага стагоддзя ў далёкія праблемы нашых дзён. Сапраўды, аглядаючы ўсю велізарную дзейнасць гэтага па-звышчалавечага ўмяшчальнага жыцця, мы бачым, што, сілкуючы і пераўтвараючы сучаснасць, ён разам з тым ставіў пытанні, сам сэнс якіх сучаснасць яшчэ не цалкам разумела, і часткова ўжо даваў адказы на яшчэ не пастаўленыя часам пытанні", бо "з самага пачатку не час валодаў ім, а ён часам" (Іванов 1994, 240).

Літаратура

- Гётэ Ё.В. Фаўст. Мн., 1991.
 Иванов Вяч. Родное и вселенское. М., 1994.
 Караткевіч У. Збор твораў: У 8 т. Мн., 1987–1991. Т. 1 ; Т. 8. Кн. 2.
 Купала Я. Збор твораў: У 7 т. Мн., 1974. Т. 4.
 Ліхадзіеўскі С. Берасцянка жывых трывог. Мн., 1962.
 На шляху да абагульненняў: Дыялог Г. Ауэрсвальда і А. Лойкі // Шылер Ф. Улада песня-спеву / Пер. А. Лойкі. Мн.; Ена, 1997.

Паступіла ў рэдакцыю 06.11.2000.

Лявонава Ева Аляксандраўна – дацэнт кафедры замежнай літаратуры, кандыдат філалагічных навук.

И.И. ШПАКОВСКИЙ

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РАССКАЗА ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «ВИДЕНИЕ»

В статье исследуется связь внутренней рефлексии героя произведения с интуитивным познанием трансцендентальной сферы бытия. Раскрываются некоторые существенные стороны творческой индивидуальности писателя, уточняются многие положения о сюжетно-композиционной организации лирической прозы.

In the article the connection of inner reflex of the hero with intuitional cognition of the transtedenal sphere of the event is researched. Some essential sides of the creative individuality of the writer are discovered, a lot of positions about the plot and composition of the lyrical prose are defined more precisely.

Трудности, с которыми сталкиваются исследователи при характеристике идейно-художественной концепции и чисто конструктивных особенностей лирических рассказов, обусловлены прежде всего той раскованностью, с какой их авторы могут развертывать свои мысли и выражать чувства. То, что исходным пунктом структурирования художественного содержания становится прихотливая динамика души главного героя, самые причудливые формы его психической жизни, предельно усложняет сюжетно-композиционную партитуру произведений, делает жанровую форму этого извода «малой прозы» принципиально неканоничной.

Структурно-содержательная целостность лирической прозы, как известно, обуславливается соотношением объектных и субъектных начал, реализуемых писателем в художественном воссоздании трех субстанций – реального мира, чувства, мысли. В рассказе же В. Распутина «Видение» нет прямого отражения объективной действительности: художник рисует в нем не внешние условия и обстоятельства жизни своего лирического героя, но лишь его внутреннюю сущность, изображает не мир, отраженный в сознании, но сознание, представшее как мир. Взгляд героя особого рода («...глаза мои обращаются вовнутрь» (Распутин 1999, 22)) и «прощальный пейзаж», который он наблюдает, являются «материализацией» тайников и глубин сознания, того, о чем грезит сердце. Писатель как бы берет на вооружение один из приемов средневекового «школьного театра» – представление в материально-зримой форме внутреннего мира персонажа, когда в определенный момент он отходит в глубь сцены и со стороны вместе со зрителями наблюдает, как облеченные сценической плотью борются в его душе Добродетель и Порок. Следует учитывать, что внутренний мир личности складывается из отраженных в сознании различных сложно переплетающихся слоев реальности, и в этом смысле видение лирического героя В. Распутина есть результат его творческого обобщающего «перевыражения» явлений объективного мира.

Рассказ В. Распутина уже нельзя отнести к классическому лиро-эпосу (повествование с отступлениями лирико-субъективного характера), поскольку «неравность брака» между лирическим и эпическим в нем доведена до предела: драгоценное «я» абсолютизируется, приобретает максимальную автономность, развитие сюжета целиком предопределяется самоизъявлением лирической личности, а вся причинность возводится к ее самочувствию. Лирическая энергия переживаний-раздумий героя не требует никакой подпитки извне, даже первичного внешнесобытийного толчка, под воздействием которого, собственно, и должно было бы начаться разматывание ассоциативных цепочек, движение микрособытий во внутриличностном ряду. То, что все «каналы» связи с событиями, замутняющими истинную сущность жизни личности внешними, поверхностными обстоятельствами, пресечены и герой как бы «вынут» из повседневной реальности, позволяет ему по-новому увидеть себя и окружающий мир.

Крайняя степень суверенизации сознания лирической личности, стремление писателя зафиксировать зыбкую текучесть чувств, развивающихся в самых неожиданных направлениях, дать «стенограмму» поэтического раздумья, произвольно тасующего события и факты вне их каузальных и хронологических связей, неизбежно должны были породить мозаичность композиции, внешнюю алогичность сцепления образов, интонационные сломы и ритмические перебивы. Однако в рассказе В. Распутина художественное освоение внутреннего мира личности идет по законам, чуждым этой особой реальности. Как ни парадоксально, но в произведении, семантические границы которого замыкаются в пределах субъективных «чувствований» героя, писатель тяготеет к использованию поэтических средств и приемов, более присущих прозаическому эпосу (детализация обстоятельств, рационалистическая архитектоника, опора на пластическое живописание, объективизация пространственно-временных отношений, жесткость причинно-следственных связей и т. д.), нежели лирической прозе. То, что пластические образы в рассказе, целиком порожденные «вибрациями души» героя, «организуются» в системное единство вовсе не ими, а согласно логике объективного мира создает иллюзию «самостоятельности» увиденного внутренним зрением «прощального пейзажа», делает его «персонажем», имеющим право на саморазвитие.

Модель «внутренней» формы рассказа напоминает атомарную систему: вокруг ядра (идейно-тематическим средоточием, «фокусом» целого стано-

вится вопрос: «Что это – жизнь или продолжение жизни?» (Распутин 1999, 25)) стягиваются послойно пластические «природные» образы – «адекватны» отдельных нюансов и граней душевного состояния героя. Начало каждого последующего слоя маркируется возвращением к описанию «обители для одного» – исходной точки его наблюдения за «прощальным пейзажем». Такие остановки в действии, как бы дающие возможность читателю «перевести дыхание», не торопясь осмыслить изображаемое, выглядят ритмообразующим аналогом рефрена. Отмечен рассказ и другим родовым признаком лирического стихотворения – выражением эмоционально-психологического содержания отдельного мгновения, пережитого творцом, представления его духовной сферы как бы в поперечном разрезе. В рассказе нет *течения* внутренней жизни с ее приливами и отливами, выстроен он в одном тональном ключе, эмоциональном ладе – это «рассказ-элегия», поскольку, как того требует специфика вида, грусть в нем концептуальна. Заметим, что здесь и далее подобные жанровые определения мы сознательно берем в кавычки, поскольку носят они метафорический характер, вызваны к жизни терминологическими трудностями в определении жанровой природы произведений, не укладывающихся в сложившиеся каноны. При их употреблении трудно добиться особой определенности. Так, «Видение» В. Распутина можно назвать и «рассказом-метафорой», и «рассказом-аллегорией», утверждающей идею этического достойного и эстетически ценного содержания ситуации «порога», и «рассказом-медитацией» (конечно, не в «чистой», но в эпической ее разновидности – «изображенное» переживание-раздумье), и даже в определенном смысле «поэмой в прозе». Ни одно из этих жанровых обозначений не может считаться в полной мере удовлетворительным хотя бы уже потому, что каждое из них выражает лишь одну из сторон конструктивно-содержательного целого.

Притом что минорное настроение в рассказе берет на себя функцию несущей конструкции целого, «печальная, суровая однозначность» (Распутин 1999, 24) живописно развертываемой темы «пограничной ситуации» (если воспользоваться языком экзистенциальной философии), оскудевания, сиротства, истощенности жизни относительна. Для героя «прощальный пейзаж» обладает одновременно и пугающей, и притягательно-заманчивой силой – «тянет смотреть и смотреть» (Распутин 1999, 24), сквозь скорбную «музыку» смирения перед «вечным, судным, властным» (Распутин 1999, 23) пробивается мелодия «сладкой муки сердца» (Распутин 1999, 24) – «переживания» ценности бытия, нежной, затаенной влюбленности в «вечные отчие пределы» (Распутин 1999, 24), высокого мига приобщения к гармонии и красоте природы.

Притом что герой В. Распутина находится в состоянии особой «лирической концентрации» (Т.М. Сильман), зачарован «колдовской» картиной, «Видение» скорее не «рассказ-настроение», но «рассказ-размышление». Его сюжетной доминантой является движущаяся мысль, а композиционным принципом – «поиск истины»: герой обращается «в один затаившийся комок, ищущий отгадки» (Распутин 1999, 21) печального ребуса «прощального пейзажа». Поэтому он не только «рисует» (последовательное перечисление предметных деталей объединяется в период, а те подбираются как частицы мозаики в общий «сюжет» картины природы), но и «мыслится». Это не значит, что приметы его пропускаются через «лаблаторию» рассудка, напротив, самопознание героя идет в направлении, противоположном логико-рационалистическому анализу, – через интуицию, жизнь сердца, разума и предстает в неразрывном единстве. Отсюда «импрессионистический», в духе Верлена, стиль природоописания – восприятие и переживание в нем неотделимо от того, что вызывает это переживание, и эти «связки» не организованы: «...смотришь то перед собой, то в себя, уже не отделяя одно от другого и не собирая увиденное в связные мысли» (Распутин 1999, 25).

«Импрессионистическая» нерезкость прорисовки деталей, «морок сумерек», скрадывающий контуры предметов, «текучесть» образов, с одной стороны, призваны настроить читателя на нужную эмоциональную волну, ввести в призрачную атмосферу «прощального пейзажа», царство его символики, с другой – передать зыбкость психологического состояния героя, его непроясненность и трудноуловимость. Ситуация, в которую он попал, еще только формируется, раскрывает ему свой смысл тут же, «сейчас», на глазах читателя. Обремененность мысли героя шлейфом корректив, допусков, сомнений вносит в его лирический монолог элемент дискуссии с самим собой. Правда, «диалогизация самосознания» идет не в вопросно-ответном оформлении – вопросы героем ставятся, но ответы скрыты за внешним планом описаний, угадываются в потоке неявных, глубинных значений пластических образов «прощального пейзажа», в «переходном» характере всех обозначений состояния природы. Описание «переходной» поры года («осень... высквоженная, облетевшая и тихая, прошедшая через волнения и боли, смирившаяся, уже и полуобмершая» (Распутин 1999, 22)) и «переходного» времени суток («дремлют сумерки» (Распутин 1999, 23)) создает целостное ощущение уходящего времени жизни, делает тему «порога» в рассказе наглядной художественной реальностью. У осени есть свои радости и торжественные моменты, когда «все хороводится и важничает» (Распутин 1999, 22), но больше страданий, мук и болей. В данном фрагменте лишь намек на возможность олицетворения: в какой-то мере начало одушевленное, страдательное; осень в рассказе прежде всего символ, глубинное значение которого восходит к значению общехристианскому – времени жатвы, которую соберет Он в последние дни мира. Также и сумерки в рассказе – не только часть светового дня и обозначение определенного времени человеческой жизни, но и «сумерки души» – ощущение тревоги, предчувствие скорой развязки, мысли о прощании.

Неявному, подспудному драматизму «прощального пейзажа» соответствует ненапряженный, раздумчивый интонационный облик его описания, плавность ритмики. Речь повествователя звучит скорее проникновенно, нежели взволнованно, а в финале и вовсе вместо характерного для концовок лирической прозы выражения наивысшей экзальтации чувств происходит резкое ослабление пульсации раздумий-переживаний героя. Спад напряжения отчеркнут возвращением мотива «ночного звона»: если в начале рассказа он вызывает у героя тревогу, острое желание понять «Что это? – или меня уже зовут?», то в финале ему уже «не хочется искать ответа» (Распутин 1999, 26). Такое обрамление «прощального пейзажа» не только «организует» его единство, но и придает особый эмоциональный колорит.

Нетрадиционна концовка рассказа и в другом отношении: хоть исповедальное начало в нем и заключает в себе особую силу дидактического, однако оно не оформляется в свое логическое следствие – такое обобщение духовного опыта, которое предполагает заповедь. Вместо этого характерного признака «закругленности» лирического сюжета завершает рассказ вопрос, представляющий все поведенное лишь неким этапом, за которым с обязательностью должно следовать продолжение. Такой характер финала рассказа, как и подчеркнутая сдержанность в выражении чувств лирического героя В. Распутина, его стремление говорить, не повышая голоса даже в самые напряженные моменты своих «открытий» и «озарений», характеризует лирику особого рода – стыдящуюся ложной пафосности и всяческой декларации.

Передавая внутреннее состояние своего лирического героя не прямо, но как отражение в зеркале – через пластические образы «прощального пейзажа», писатель стремится к максимальному обнажению «эмоционального сознания» (Ю.М. Лотман) слова, скрытого в предметном его значении.

Оставаясь строительным материалом пластического образа, оно преодолевает свою прямую «прозаическую» соотнесенность с обозначаемым объектом или явлением, свою «отдельность». За счет установления «внепредметных» связей между языковыми единицами, лавинообразного генерирования словесно-образным материалом дополнительных художественных значений и смыслов вещно-пластическое и эмоционально-психологическое сплавляется в художественное целое лирического события видения героя. Наделение «прощального пейзажа» сознанием, движением, «языком», умением жить по законам человеческих чувств, то, что лирическое высказывание героя как бы передоверяется лесу, дереву, реке, камням у реки и так далее, открывает широкие возможности для расширения диапазона лиризма. Так, «смирненно и красиво склоненные березы» (Распутин 1999, 24), которые видит герой, «провоцируют» его мысль перейти от камерного, трепетно интимного к субстанциального свойства проблемам – всеобщности бытия, слитности единого потока жизни в природном и человеческом мире: «Уже не кажется больше растительным философствованием, будто все мы связаны в единую цепь жизни и в единый ее смысл – и люди, и деревья, и птицы. В старости так больно бывает, когда падает дерево!» (Распутин 1999, 25). Эта лирическая реплика – не просто знак глубоких внутренних волнений, но одномоментное сгущение изображаемого в «логарифм» лирико-философского обобщения. Обнажаются все скрепы и связи символизации в рассказе, и «прощальный пейзаж» предстает уже не миражным отражением локального и феноменологического, но звеном общей философской концепции бытия. Заметим лишь, что та легкость, с какой лирический герой В. Распутина выносит себя за рамки своего существа, а мотивы, образы, детали приобретают густую философскую окрашенность, обусловлена сущностью переживаемой им «внутренней ситуации» – «бытийная» сердцевина души человека, проявление одного из тех самых качеств, которые, будучи лишены какой-либо конкретно-исторической детерминированности, принципиально присущи всем людям.

Сопряжение «пейзажного» и «человеческого» планов повествования определяет его пафос. Все «природное» предстает силой, хоть и не соглашающейся с грядущей гибелью, но и не сопротивляющейся предначертанному. В этом смирении перед печальным порядком вещей заключена особая красота, в такой просветленной скорби кроется своя прелесть. Так и отношение героя к закону необратимости времени жизни есть не бунт и не растерянная опустошенность, но смиреномудрие, пронизанное желанием даже сейчас, на «пороге», постичь сокровенное таинство бытия, экзистенциальный смысл жизни и ее сурового закона. Лирический герой В. Распутина как бы еще раз доказывает, что мысли о неизбежном завершении земного пути имеют для человека нравственную целесообразность, поскольку это одна из составляющих его стремления к духовному совершенствованию. Световой контрапункт в финале («настаывающий морок сумерек» (Распутин 1999, 25) – «Хорошо, хорошо», – и мне чудится, что под это слово я должен светиться точкой, заметной издали» (Распутин 1999, 25)) вносит последний штрих в обрисовку «образа души»: интонационный оттенок возвышенной умиротворенности противостоит ощущению надвигающегося мрака и холода, который гасит всякую надежду.

Итак, «закругленность» повествовательного пространства рассказа В. Распутина «Видение» сугубо интимной сферой не приводит к идейно-тематической ограниченности: связанное с интуитивным постижением трансцендентальной сферы бытия, общих закономерностей внешнего мира самопознание героя приобретает глубокую внутреннюю содержательность. Такая прозаическая лирика ассоциативно-метафорического типа требует от читателя напряженной работы воображения, творческого домысливания,

однако взамен предлагает особую мощь художественно-философских обобщений.

Литература

Распутин В. Видение // Всемирная литература. 1999. № 3.

Поступила в редакцию 05.04.2001.

Шпаковский Игорь Иванович – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы.

В.Г. НАТАЛЕВИЧ

ШЛЮБНАЯ СІМВОЛІКА НА СВЯТА ЛЕТНЯГА СОНЦАВАРОТУ Ў ЕЎРАПЕЙСКОЙ ФАЛЬКЛОРНАЙ ТРАДЫЦЫІ

На основании сравнительного изучения купальских обрядов с точки зрения их связи с брачной символикой автор исследует общие элементы, происходящие со времен индоевропейской общности, а также национальные формы, в которые превратились ритуально-магические акции в процессе исторического развития обрядовых практик европейских народов.

On the basis of the comparative study of the midsummer rites from the point of view of their contact with the marriages symbolism the author reveals common elements which come from the time of the Indo-European community and also national forms in which they were transformed in the process of historical development of the rites of the European Peoples.

Супастаўленне абраднасці свята летняга сонцавароту розных еўрапейскіх народаў можа ўнесці пэўны ўклад у распрацоўку пытанняў іх паходжання і пазнейшых культурных стасункаў. У дадзеным артыкуле разглядаецца праблема сувязі купальскай абраднасці са шлюбнай сімволікай.

У абраднасці купальскага свята засяроджана пэўнае кола рытуальна-магічных акцый, непасрэдна звязаных са шлюбнай сімволікай. У рытуалах гэтага дня даволі выразна праступаюць захаваныя да нядаўняга часу магічныя дзеянні, з дапамогай якіх можна паскорыць шлюб, забяспечыць з'яўленне нашчадкаў праз зварот да прадудцыравальных уласцівасцей агню і такім чынам стымуляваць вытворчыя здольнасці чалавека; праз здзяйсненне мантычных абрадаў з выкарыстаннем магіі агню, вады і расліннасці даведацца аб будучым лёсе, замужжы.

Непасрэднае дачыненне да шлюб, паводле міфалагічных уяўленняў усходніх славян, мела купальскае вогнішча. На Беларусі і Украіне праз касцёр часта наладжваліся скокі парамі і па іх варажылі: калі рукі маладых не разыдуцца або ўслед ім паляцяць іскры, тады яны ажэняцца (гл. Коринфский 1995, Терещенко 1847–1848). Абрад скокаў парамі абавязаны, верагодна, сваім паходжаннем уяўленню аб тым, што такім чынам закаханыя маладыя людзі забяспечаць у шлюбе з'яўленне шматлікіх нашчадкаў, бо міфалагізаваная свядомасць прыпісвала агню перыяду сонцавароту прадудцыравальную моц. Скокі парамі праз іванаўскі касцёр мелі шлюбную сімволіку і ў іншых еўрапейскіх народаў. Польшкія і французскія хлопцы і дзяўчаты скакалі праз рытуальнае вогнішча ў спадзяванні абраць шлюб у гэтым годзе. Дрэнным знакам лічылася, калі хто-небудзь неасцярожна трапляў нагой у касцёр, бо нявесты пазбягалі такога жаніха. У гэтым, відаць, падсвядома праяўлялася павага да рытуальнага агню, які нельга было апаганьваць. Немцы верылі, што калі хлопец з дзяўчынай у час скокаў не разнімуць рук, то іх каханне ўзмацніцца і ў гэтым годзе адбудзецца іхняе вяселле (гл. Календарные обычаи 1978, Slownik 1965). Сувязь шлюбнай сімволікі з культам агню выразна праяўляецца і ў звычаі ў дзень вяселля запальваць на ўзвышшы касцёр, які называўся “агнём св. Івана” ў этнаграфічнай групы венграў – палоцяў (гл. Календарные обычаи 1978). Паколькі іванаўскі агонь з'яўляец-

ца цэнтрам абрадавай дзеі на Купалле, можна гаварыць аб тым, што дзень летняга сонцавароту быў цесна звязаны і з вясельнай абраднасцю.

Скокі парамі звязваюцца ў вераваннях чалавека міфапаэтычнага сузірання ў адзінае цэлае з уяўленнем аб сонцы як пачатку ўрадлівасці, па-першае, і любові, па-другое. Архаічная свядомасць надавала купальскаму агню як ачышчальныя, так і прадудцывальныя ўласцівасці, сведчаннем чаму з'яўляюцца недвухсэнсоўныя ўказанні на тое, што працяг чалавечага роду ставіўся ў залежнасць ад спрыяльнага ўплыву рытуальнага кастра. Як зямля становіцца ўрадлівай пад уздзеяннем сонца, так і пачуццё любові, нараджэнне дзяцей з'яўляюцца вынікам апладняльнага ўздзеяння сонца, увадзяльнага ў агні. Нездарма ўжо да Купалля падбіраліся шлюбныя пары, а вяселле звычайна спраўлялі пасля збору ўраджаю ці зімою.

Вера ў апладняльную моц агню пацвярджаецца і іншымі абрадавымі дзеямі. Так, на Беларусі паляшчкі, у якіх не было дзяцей, калі кідалі ў агонь ламачча, ціхенька шапталі: "Пладзіцеся дзеці" (Сержпудоўскі 1998, 130). На Украіне таксама вераць у тое, што скокі праз вогнішча пазбаўляюць ад бясплоддзя (гл. Коринфскі 1995). Названыя звычаі атрымалі асаблівае распаўсюджванне, бо ў гэты дзень, самы доўгі ў годзе, усе сілы прыроды знаходзіліся ў стане наймацнейшага росквіту, павышанай актыўнасці і таму маглі спрыяльна ўплываць на чалавека.

Іншыя народы Заходняй Еўропы таксама надавалі іванаўскім агням прадудцывальную моц. У некаторых мясцовасцях Германіі лічылася дрэннай прыметай, калі агонь не закранаў спадніцы жанчыны ў той час, калі яна скача праз агонь. Немцы гаварылі, што ў гэтым выпадку жанчына ў гэтым годзе не зацяжарыць, бо не далучыцца да жыватворнай моцы агню. Францы таксама верылі ў апладняльную сілу рытуальнага вогнішча: у Ніверне маладая, якая абрала шлюб незадоўга да свята сонцавароту, павінна была зрабіць некалькі колаў вакол кастра, а потым скокнуць праз агонь, каб зацяжараць у гэтым годзе (гл. падрабязней Календарныя обычаі 1978).

Шлюбную сімваліку маюць і некаторыя іншыя ўсходнеславянскія абрады, звязаныя з купальскім вогнішчам. На Украіне ў Харкаўскай губерні хлопец здымаў з дзяўчыны вянок, надзяваў ёй на галаву сваю шапку і, схпіўшы за руку, скакаў з ёй праз касцёр (гл. Іванов 1907). На Беларусі, як зафіксаваў А.К. Сержпудоўскі, дзеўкі кідаюць у агонь свае вянкi: чый вянок згарыць, тая дзяўчына хутка выйдзе замуж. Хлопцы скачуць у агонь, каб выхапіць вянок той дзяўчыны, якая падабаецца, бо чый вянок ён атрымае, тая дзеўка будзе яго любіць (гл. Сержпудоўскі 1998). У Е.Р. Раманавы і П.В. Шэйна ёсць запісы аб тым, што беларускія хлопцы і дзяўчаты каля купальскага вогнішча падзяляюцца на дзве групы, якія становяцца тварамі да агню. Над кастром пачынаюць перакідаць вянкi са святаянскага зеля: калі кінуты вянок схопіць дзяўчына, яна зноў яго кідае, калі хлопец – ён яго разрывае. Так вянкi кідаюць да таго часу, пакуль хлопцы не паразрываюць усе вянкi (гл. Романов 1912, Шейн 1887). Вянок здаўна лічыўся сімвалам дзявоцкасці, таму названыя абрады ўкраінцаў і беларусаў непасрэдна звязаны са стратай дзявоцкасці, са шлюбам і вясельнай абраднасцю.

Абрад скідання вянка – сімвала дзявоцкасці – адбываўся ў той тэмпаральны локус, калі прырода знаходзіцца ў стане найбольшага росквіту і ад яе ўжо чакаюць пладоў. Сам абрад падкрэсліваў, што дзяўчына, якая дасягнула палавой сталасці, павінна стаць жанчынай. Гэта абрадавая дзея звязана з ініцыяцыяй дзяўчат, што для дадзенага часу з'яўляецца натуральным. Сведчаннем таму выступае нават факт, што Купалле часам называюць дзявоцым святам, калі адбывалася прыняцце дзяўчат паўнапраўнымі членамі ў род (гл. Власов 1993). У Славеніі дзяўчаты пры падрыхтоўцы да гэтага дня два месяцы да яго жылі разам у якім-небудзь шалашы, у Беларусі і Польшчы купальская ноч лічылася ноччу вольнай любові (гл. Кален-

дарныя обычаі 1978, Романов 1912). Можна супаставіць асобныя абрады купальскага цыкла з ініцыяцыямі дзяўчат аўстралійскіх абарыгенаў і высветліць шэраг супадзенняў са славянскім святкаваннем. Такія элементы, як першапачатковая ізаляцыя, іспыты (у славян – скокі праз касцёр), абранне шлюб (у славян – скокі праз вогнішча разам з хлопцам), перыяд рытуальна-групавога шлюб, калі з маладой жанчынай уступаюць у стасункі сябры яе “мужа”, – толькі некаторыя элементы дзявочых ініцыяцый (гл. Власов 1993). Аднак першапачатковы сэнс гэтага рытуалу, ініцыяцыя, быў паступова забыты, засталіся толькі некаторыя дзеянні, якія былі трансфармаваны ў адпаведнасці з асноўнымі ідэямі свята. У абрадзе скідання вянка непасрэдна праяўляецца сувязь купальскай абрадавай практыкі з вясельнай, і, верагодна, толькі з цягам часу гэта рытуальна-магічная акцыя пераўтварылася ў акт варажбы.

Не без сувязі са шлюбнай абраднасцю выступае купальскі абрад, зафіксаваны А. Шлюбскім на Віцебшчыне. Тут пры вяртанні з купальскага вогнішча дзяўчаты дораць гаспадыні кветкі як сімвал дабрабыту ў доме, а дзяўчыне-нявесце надзяваюць на галаву вянок, які сімвалізуе будучае замужжа (гл. Шлюбскі 1927). Асабліва выразна выступае сувязь купальскіх абрадаў з вясельнымі ў апісанні А.Е. Багдановічам Купалля ў Барысаўскім павеце. Дзяўчаты ў вянках з кветак і аржаных каласоў разам з хлопцамі стваралі карагод, у заручаных былі ручнікі. Пасля жартаўлівай перапалкі адна з заручаных дзяўчат выходзіла і закрывала твар тканінай, яна ўяўляла сабой Купальніцу. У сінхраніі з дзеямі гучала вербальнае суправаджэнне:

Йшла Купалка сялом, сялом,
Закрываўшы вочкі чубром, чубром,
Давала хлопцам чалом, чалом.
Сталі людзі дзівіцца
Стала купалка сварыцца:
Ах вы, людзі, вы дзіўныя!
Ці вы на вулку не ходзілі,
Ці вы Купалку не відзелі,
Ці вы цвяточкаў не збіралі,
Ці вы вяночкаў не звівалі
Ці вы ў таночкі не ходзілі,
Ці вы дзявок не зводзілі?

(Багдановіч 1995, 118)

Купальніца выбірала сабе пару: у старажытныя часы брала таго, хто падзецца, а зараз умудраюцца выбраць жаніха або таго, хто падабаецца, таму што хлопцы падаюць галасы. Абранцы здымаюць з купальніц тканіну і павязваюць сабе на руку або праз плячо (гл. Багдановіч 1995). Падобныя абрадавыя дзеі беларусы здзяйсняюць на вяселлі.

Каханне і замужжа з’яўляюцца скразной тэмай Купалля ў шматлікіх вербальных тэкстах, захаваных усходнеславянскай фальклорнай практыкай (гл. Купальскія і пятроўскія песні 1985, Ігры та пісні 1963, Поезія 1970). Як слушна адзначае А.С. Ліс, перавага ў купальскай абраднасці матываў кахання, жаніцбы, спецыфічная роля на Купалле жартоўных песень наводзяць на думку, што сапраўды свята летняга сонцастаяння ў часы першабытнага грамадства магло быць днём выбару нявест (гл. Купальскія і пятроўскія песні 1975, 19).

У нашых заходнееўрапейскіх суседзяў дзень св. Яна таксама меў прамыя сувязі са шлюбам. Так, у горнай Славакіі і Маравіі яшчэ ў XVIII ст. пры святкаванні летняга сонцавароту заключаліся шлюбныя дагаворы. І ў Нарвегіі (вобласць Сетэсдаль) маладыя пары ў гэты дзень дамаўляюцца аб шлюбе (гл. Календарныя обычаі 1978). Да Купалля падбіраліся шлюбныя пары, і ў гэты дзень можна было дамаўляцца і аб шлюбе, хаця вяселлі час-

цей за ўсё спраўлялі пасля заканчэння палявых работ. У сувязі з гэтым фактам можна гаварыць аб значным месцы шлюбнай сімволікі ў купальскай абраднасці.

Важным атрыбутам купальскай абраднасці, непасрэдна звязаным са шлюбнай сімволікай, былі вянкi, якія выкарыстоўвалі ў мантычных мэтах. У рытуальна-абрадавай дзеі варажбы па вянках адначасова выкарыстоўвалася магія расліннасці, вады і агню. Розныя народы мелі свой набор купальскіх раслін, якія складалі святочны вянок. Беларускі зівалі вянкi з белых цюльпанаў, з дробненькага купала, дзівабрата, сініх званочкаў, сіняй смалянкі. Перад вечарам іх кідалі ў ваду, а на наступны дзень ішлі глядзець, у які бок іх аднесла, туды дзяўчыне і замуж ісці (гл. Романов 1912). Сэнс абрадавай дзеі раскрываецца ў вербальных тэкстах, што яе суправаджаюць:

Сягоння Яна Купалы,
Дзевачкі зелле збіралі.
Дзевачкі зелле збіралі
Да ў вяночкі спляталі.
Да ў вяночкі спляталі
Да на вадзіцу пушчалі:
— Плывіце, вяночкі, аж на дно,
Скажыце пра мілага майго.

(Купальскія і пятроўскія песні 1985, 306, 307)

Такія ж матывы гучаць і ў іншых купальскіх тэкстах беларусаў (гл. Купальскія і пятроўскія песні 1985, № 694–701). У купальскіх песнях, звязаных з актам варажбы па вянках, лірычна і пранікліва перадаюцца перажыванні дзяўчыны аб зменах у жыцці ў сувязі са шлюбам.

Абрад варажбы па вянках на Украіне меў свае спецыфічныя асаблівасці. Украінкі для купальскіх вяноў збіралі чырвоныя валожкі, панскі мак, жоўты святаяннік, наготкі, разнаквецце, мяту, званочкі (гл. Сахаров 1849). Купальскімі вянкамі ўпрыгожвалі галаву ў дзень свята, а потым па іх варажылі. Па рацэ дзяўчаты пускалі два вянкi на сябе і на хлопца; лічылася, што, калі вянкi сыдуцца, дзяўчына пойдзе за хлопца замуж (гл. Ігры та пісні 1963). Часам да вяноў прымацоўвалі запаленыя свечкі і пускалі на ваду. Украінцы верылі, што чыя свечка раней згасне, той і памрэ раней (гл. Афанасьев 1997, т. 3). Свечка ў абрадах і павер'ях была сімвалам жыцця. У легендах і казках усходніх славян чалавек, які трапіў да бога ці чорта, бачыў вялікую колькасць палаючых свечак, даўжыня якіх адпавядала часу, які засталася пражыць пэўнай асобе. Такое ж стаўленне да жыцця і смерці ў купальскай абрадавай дзеі.

На Украіне зафіксаваны яшчэ адзін спосаб варажбы па вянках: яго апускалі на дно ракі і сачылі: калі ўсплыве – дзяўчына пойдзе замуж у той жа год (гл. Ігры та пісні 1963). Украінкі збіраюць на Купалле кветкі, з якіх робяць пудзіла Івана. Пасля таго як яго разрываюць, бяруць некалькі кветак і захоўваюць да Пятра, і ў гэты дзень кідаюць у ваду, каб даведацца, у які бок выйдуць замуж (гл. Малинка 1898). Але, відавочна, гэта толькі варыянт магічнай абрадавай дзеі, шырока распаўсюджанай на Купалле.

Пусканне вяноў па вадзе разам з іншымі абрадамі (кумаўствам, завіваннем вяноў, з абрадам Зязюлі) было перанесена на Тройцу і добра вядома па ўсёй Расіі, акрамя паўночных абласцей, дзе часам плялі вянкi і варажылі па іх на Купалле. Так, у Пінежскім раёне дзяўчаты і хлопцы разам збіралі кветкі, дзяўчаты рабілі вянкi з дванаццаці траў і кідалі ў раку са словамі: “Суджаны-ражаны, плыві ў плыні, дзе мой лёс” (Соколова 1979, 259). Відавочнае падабенства абрадавай дзеі пускання вяноў на ваду ў беларусаў, украінцаў на Купалле і ў рускіх на Тройцу гаворыць аб іх унутранай сувязі. У тых рэгіёнах Расіі, дзе на Тройцу ўпрыгожвалі бярозку, спачатку кідалі ў ваду яе, а потым вянкi. Часцей вянкi кідалі не рукамі, а нахіляліся і скідалі з

галавы, пры гэтым часам становіліся да ракі спіной. Дзяўчаты варажылі аб сваім лёсе па тым, як плылі вянкi. Мантычная семантыка абраду раскрываецца ў песні:

Пойду-выйду я на речку,
Стану я, стану на крутом бегу,
Кину я, кину веночек на воду...
Все венки поверх воды,
А мой утонул,
Все дружки с Москвы пришли,
А мой не пришел.

(Елеонская 1912, 149)

На большай тэрыторыі Расіі “завіваць вянкi” хадзілі на Сёмік. Гэты абрад лічыўся чыста дзявочым, таму што ў ім удзельнічалі дзяўчаты, у некаторых месцах маладыя жанчыны. Завівалі бярозку так: дзяўчына выбірае сучок або некалькі і скручвала іх у выглядзе жгуціка, пры гэтым імкнулася не заламаць галінак і лісцікаў. Жгуцік звяваўся ў выглядзе кола і замацоўваўся з яго ўласным ствалом. Пры гэтым загадвалі на сябе (жыць або памерці, выйсці замуж або не), але можна было загадваць і на членаў сям’і, на хлопца, аднак рабіць гэта трэба было ўпотаі (гл. Громыко 1975).

Развіваць вянкi прыходзілі на Тройцу, у гэты дзень глядзелі – захаваліся яны ці развіліся. Калі вянок звяў – гэта быў дрэнны знак: дзяўчына або той з яе сям’і, на каго яна загадала, памрэ; у некаторых месцах гэта азначала, што яна выйдзе замуж. У Цюменскім павеце дзяўчаты дзеля варажбы аб будучым замужжы “запіралі вароты”, выбіралі дзве суседнія невялічкія бярозкі, нагіналі іх вершалінкі адну да другой, перавівалі ў форме жгута. У вербальным суправаджэнні гэта гучала так: “Калі выйсці мне замуж, адчыніцеся вароты, калі ў дзеўках застацца, зачыніцеся вароты” (Громыко 1975, 127).

Абрад завівання бярозак і пляцення вянокаў на Тройцу ў Беларусі адзначаецца не ўсюды. П. Бяссонаў пісаў, што “ў беларусаў гэтых абрадаў няма, а яны толькі згадваюцца ў песнях, і ўсё паглынула Купала” (Бессонов 1871, 24, 25). Аднак глыбінную сувязь рытуалу завівання вянокаў на Тройцу і Купалле дэшыфруюць беларускія і рускія купальскія тэксты (гл. Купальскія і пятоўскія песні 1985, Смирнов 1978).

Даволі часта даследчыкі ставяць пытанне аб паходжанні элементаў абрадаў і іх узаемасувязях. Так, П. Бяссонаў піша аб купальскім свяце: “Многія часткі свята і абрадаў, роўна як многія песні Купалы, разышліся па Белай Русі да Вялікадня, у Валачобныя, Сеймікавыя або Траецкія з Русальнымі, а роўна праз паўгода к Калядзе” (Бессонов 1871, 61). В.К. Сакалова адзначае, што некаторыя абрады, звязаныя са святам Купала, у рускіх былі перанесены на Тройцу, а купальская абраднасць аказалася збедненай (гл. Соколова 1979). У каляндарных абрадах усходнеславянскіх народаў і нават народаў Еўропы адбываецца працэс развіцця і перапамеркавання частак абраду, у выніку чаго адны рытуальна-магічныя акцыі пераплятаюцца з іншымі.

Першапачатковы сэнс абраду пускання вянокаў па вадзе быў, верагодна, не мантычны, а іншы. Яго раскрывае прымаўка, захаваная нашымі заходнімі суседзямі, палякамі: “На святога Яна вада квітнее”¹ – “Na święty Jan woda kwitnie” (Słownik 1965, 381). Сэнс гэтага выслоўя заключаецца ў тым, што пусканне кветак у вадку мела сваёй мэтай пажаданне ёй зычлівасці, а само зелле, якое кантактуе з вадой, набывала лекавую моц. Такім чынам, абрад пускання вянокаў на вадку ўзыходзіць, верагодна, да ўшанавання самой вады. Таксама неабходна мець на ўвазе той факт, што зеляніна сама па сабе – сімвал жыцця. Нездарма Чалавек, абвіты зелянінай, з’яўляецца ўвасабленнем абуджэння прыроды ў веснавых абрадах. Толькі з цягам часу першапача-

¹ Тут і далей – пераклад аўтара.

чатковая функцыя абрадавай дзеі пускання вяноў была забыта, і абрад стаў выконваць выключна мантычную функцыю. Акрамя таго, названая рытуальна-магічная акцыя мела шырокі арэал распаўсюджвання, што з'яўляецца сведчаннем яе глыбокай старажытнасці.

Вянкі, што плылі па вадзе, з'яўляліся сродкам мантычнай магіі і ў шматлікіх еўрапейскіх абрадавых практыках. На св. Яна ў Партугаліі жаніх і нявеста плялі аднолькавыя вянкi і кідалі іх у раку, укладалі ў сярэдзіну прасмоленую анучку і падпальвалі яе. Калі вянкi прыбівала да берага адначасова, пару чакала вяселле; лічылася, што першым павінен быў памерці той, чый агонь згасне раней. Самай лепшай прыметай было, калі абодва вянкi разам плылі па рацэ, і агні доўга гарэлі. Дрэжны знак – калі вянкi разыходзіліся ў розныя бакі, або ў розны час прыставалі да берага. У Польшчы маладыя дзяўчаты пускалі рانیцай па рацэ два вянкi ды прыгаворвалі: “Раніцай св. Яна пусцім на вадку вянок” – “Jutro św. Janek puścmy na wodę wianek” (Slowik 1965, 383). Яны сачылі за вянкамі і па іх руху варажылі: калі вянкi сыдуцца, іх уладарка выйдзе замуж, калі патонуць – памрэ. У Славакіі плялі вянкi “з дзесяці траў”, кідалі іх у вадку і сачылі, з якога боку будзе жаніх, ці хутка яны выйдуць замуж. У Аўстрыі спляталі вянкi, кідалі іх у раку, а варажылі аб працягласці жыцця і аб будучым замужжы па тым, як плыве вянок (гл. Календарныя обычаі 1978).

У абрадавых практыках еўрапейскіх народаў існавалі і іншыя акты варажбы па вянках, у некаторай ступені падобныя на ўсходнеславянскія мантычныя абрады. У мазураў (Польшча) згодна са звычаем вянкi на дрэва кідалі хлопцы. Меркавалі, што хлопец ажэніцца праз столькі гадоў, колькі разоў вянок замацуецца на дрэве. Падобны абрад існаваў у дзяўчат паўднёваўсходняй Маравіі. Чэшскія дзяўчаты кідалі вянкi на яблыні тройчы. Калі вянок зачэпіцца за дрэва адразу, верылі, што шлюб адбудзецца ў гэтым годзе; калі з другой спробы або трэцяй – адпаведна замужжа трэба чакаць праз два і тры гады. У Македоніі і Славеніі дзяўчаты кідалі вянкi за страху, і калі траплялі тройчы – гэта было знакам хуткага замужжа. Чэхі і славакі кідалі вянкi праз касцёр, як і беларусы, варажылі аб тым, з якога боку прыйдзе будучы жаніх. Каб даведацца аб сваім лёсе, у некаторых раёнах Румыніі вянкi кідалі на дах хаты, як у Расіі кідалі лазневыя венкі з купальскімі травамі. Калі вянок (венік) трапляў на дах з першага разу, лічылася, што жыццё яго ўладаркі будзе шчаслівым; у іншым выпадку можна чакаць розных няшчасцяў, нават смерці. Акрамя таго, вянкi кідалі на жывёл: калі вянок трапляў на маладую жывёлу, гэта прадвешчала шлюб з маладым (маладой) чалавекам, калі на старую – са старым (гл. Календарныя обычаі 1978).

Параўнальнае вывучэнне купальскіх абрадаў з пункту гледжання сувязі са шлюбнай сімволікай дае магчымасць высветліць як агульныя элементы, што бяруць вытокі, верагодна, яшчэ ў часы індаеўрапейскай супольнасці, так і своеасаблівыя нацыянальныя формы, у якія пераўтварыліся рытуальна-магічныя акцыі ў працэсе гістарычнага развіцця абрадавых практык еўрапейскіх народаў. Такая рэканструкцыя базіруецца на аснове параўнальна-гістарычнага даследавання абрадаў і генетыка-тыпалагічнага падыходу да фальклорнага працэсу. У падабенстве купальскіх абрадаў, звязаных са шлюбнай сімволікай, у розных народаў нельга не бачыць і праявы стыхійнага падсвядомага. Асноўныя этапы і асобныя элементы купальскага свята маглі мець розныя акцэнтны не толькі ў этнічных традыцыях усходніх і заходніх еўрапейскіх народаў, але і ў межах аднаго этнасу. Аднак пэўная частка абрадаў, звязаная з вясельнай абраднасцю, мела ў еўрапейскіх народаў агульныя формы, нягледзячы на вялікі шэраг дэталей. Пры параўнанні купальскіх абрадаў у аспекце іх сувязі са шлюбнай сімволікай можна зрабіць вывад аб тым, што ў шэрагу беларускіх абрадаў даволі выразна праяўляюцца архаічныя карані. Такія рытуальна-магічнымі акцыямі з'яўля-

юцца скокі парамі праз купальскае вогнішча, скіданне вяноў і варажба па іх. Гэтыя абрадавыя дзеі былі добра вядомы паўсюдна ў Еўропе: значны арэал іх распаўсюджвання дае падставу гаварыць аб іх старажытным паходжанні.

У гістарычным аспекце іванаўская абраднасць, звязаная са шлюбнай сімволікай, адзначаецца бытаваннем як першасных яе форм, так і пазнейшых насланняў і мадыфікацый. Гэтыя купальскія звычаі і абрады прайшлі доўгі і складаны шлях развіцця, у кожную эпоху напаяняліся новым зместам, чым і тлумачыцца іх поліфункцыянальнасць. Каляндарна-абрадавая творчасць, якая захавалася ў побыце еўрапейскіх народаў да пачатку XX ст., уяўляе сабой набор рэлігійных з'яў, якія склаліся шляхам напластавання рэлігійных уяўленняў розных эпох. Іх вытокі ляжаць у глыбокай старажытнасці, у эпасе, калі з узнікненнем земляробства склалася новае светаўспрыманне чалавека архаічнай свядомасці.

У цэлым на рубяжы XIX–XX ст. назіралася даволі стракатая карціна: адначасова з больш познімі формамі абрадаў працягвалі бытаванне і архаічныя, а змест некаторых рытуальна-магічных акцый забываўся ці пераасэнсоўваўся. Так, абрад пускання вяноў на вадку паступова з акта ўшанавання вадкі пераўтвараўся ў мантычную абрадавую дзею, якая з часам набыла ўпрыгожанне ў выглядзе запаленых свечак ці прасмаленых анучак, што ўстаўлялі ў сярэдзіну вяноў (украінцы, партугальцы), і стала ўяўляць сабой маляўнічае відовішча, якое значна ўпрыгожвала свята.

Пры разглядзе купальскіх абрадаў у аспекце міжэтнічных сувязей з'яўляецца магчымым прасачыць вытокі самога купальскага абраду, яго ўнутраныя семантычныя ўзаемасувязі. Пры сумесным параўнанні асобных абрадаў некалькіх каляндарна-абрадавых свят усходніх славян паміж сабой (у прыватнасці, Тройцы і Купалля) выяўляецца, што яны маюць тоесныя рысы. Гэта звязана з тым, што ў пэўнай частцы абрадаў адбылося перапамеркаванне асобных рытуальных дзей і прыстасаванне іх да іншых свят. Так, у рускіх мантычны абрад пляцення і кідання вяноў на вадку быў перанесены на Тройцу. Рэшткі такога своеасаблівага сінкрэтызму ўвесь час праяўляюцца ў каляндарных абрадах і песнях. Каляндарныя святы з'яўляюцца поліфункцыянальнымі, а змест, форма і стаўленне да іх на працягу ўсяго часу існавання змяняюцца.

Літаратура

1. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1997. Т. 3.
2. Бессонов П. Белорусские песни с подробным объяснением их творчества, языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта. М., 1871.
3. Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозозерцания у белорусов: Этнографический очерк. Мн., 1995.
4. Власов В. Г. Формирование календаря славян: ранний период // Календарь в культуре народов мира. М., 1993.
5. Громыко М. М. Трудовые традиции русских крестьян Сибири (XVIII – первая половина XIX в.). Новосибирск, 1975.
6. Елеонская Е. Н. Крещение и похороны кукушки в Тульской и Калужской губерниях // Этнографическое обозрение. 1912. № 1-2.
7. Иванов П. В. Жизнь и поверья крестьян Купянского уезда Харьковской губернии // Сборник харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1907.
8. Ігри та пісні. Весняно-літняя поезія трудового року. Київ, 1963.
9. Календарные обычаи и обряды в странах Зарубежной Европы. Летне-осенние праздники. М., 1978.
10. Коринфский А. А. Народная Русь. М., 1995.
11. Купальскія і пятроўскія песні. Мн., 1985.
12. Малинка А. Н. Иван Купала в Черниговской губернии // Этнографическое обозрение. 1898. № 2.
13. Пoesия крестьянских праздников. Л., 1970.
14. Романов Е. Р. Белорусский сборник. Вильно, 1912. Вып. 8.
15. Сахаров И. Сказания русского народа: В 2 т. СПб., 1849. Т. 2. Кн. 7.
16. Сержпутоўскі А. К. Прымі і забавы беларусаў-палешукоў. М., 1998.
17. Смирнов В. А. Купальская обрядовая поэзия восточных славян. М., 1978.
18. Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. М., 1979.

14. Терещенко А. В. Быт русского народа: В 8 т. СПб., 1847–1848. Т. 5.
 15. Шейн П. В. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края: В 2 т. СПб., 1887. Т. 1. Ч. 1.
 16. Шлюбські А. Л. Матэрыялы для вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны. Мн., 1927.
 Słownik folkloru polskiego pod redakcją J. Krzyzanowskiego. Wiedza powszechna, 1965.

Паступіла ў рэдакцыю 25.01.2001.

Напалевіч Вольга Генадзьеўна – аспірант аддзела фалькларыстыкі Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі. Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук А. С. Ліс.

О.А. СМЕРНОВА

ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО ПАТЕРИКА

Статья посвящена анализу повествовательных структур рассказов Киево-Печерского патерика. Повествовательная структура традиционалистического произведения трактуется как схема поступательного нисхождения: «модель мира – картина мира – жанр – повествователь». На уровне повествователя происходит художественно-речевое наполнение и искажение схем. Подобный подход позволяет проследить художественное развитие повествовательных структур рассказов патерика.

The article is dedicated to analyses of narrative structures of Киево-Печерский pateric novels. Narrative structure is interpreted as a progressive descending scheme: world model – world outlook – genre – narrator. We can observe filling and perversion of schemes in the belles-lettres discourse on the narrator's level. The same approach allows to observe the art development of pateric narrative structures.

Согласно семиотической теории текст реализует три типа отношений: на семантическом, синтаксическом и прагматическом уровнях. В литературном художественном тексте семантический уровень формируется отношениями изображения к изображаемому (в широком смысле), синтаксический – структурными закономерностями его построения, прагматический – спецификой отношений «автор – читатель». Таким образом, первый и третий уровни отношений напрямую включают текст в процесс культурной коммуникации – процесс трансляции нормы и создания ее вариантов (в том числе и отклонений от нормы). Не случайно М.М. Бахтин автономно от семиотической теории выдвинул определение текста как *высказывания*.

В связи с коммуникативной (в широком смысле) функцией художественного текста принципиальными для его исследования становятся: 1) «*изображаемое*»: картина (в схематизированном пределе – модель) мира и отдельные структурирующие ее элементы; 2) *синтагматика текста*: структурные закономерности построения жанровой, сюжетно-персонажной, стилистической схем; 3) *прагматика текста*: категория повествователя в ее отношении к категориям автора и адресата (читателя, слушателя, зрителя).

Для исследования этих позиций в их взаимосвязи предлагается использовать термин «*повествовательная структура*». От термина «структура повествования» он отличается тем, что последний касается построения только синтаксического уровня повествования. Подобное различие терминов особенно актуально при анализе текстов «канонического типа» – в первую очередь фольклора и средневековой литературы, так как названные типы художественного мышления ориентированы на «эстетику тождества». «Гносеологическая природа эстетики тождества состоит в том, что разнообразные явления жизни познаются путем приравнивания их определенным гносеологическим моделям» (Лотман 1970, 351). Значит, структура художественных текстов «канонического» типа особенно зависит от модели мира, картины мира и жанра: прагматическая функция такого текста рассчитана на трансляцию устойчивой и четко структурированной модели мира; автор (исполнитель) подчинен нормативному идеалу (мировоззренческому и жан-

ровому); восприятие читателя (слушателя) работает по принципу удовлетворенного ожидания. Таким образом, повествовательная структура произведения традиционалистического типа представляет собой схему поступательной заданности его структуры моделью мира, картиной мира (более конкретизированным вариантом модели мира), жанром, а также жанрово и художественно обусловленными отклонениями от этой заданности. Причем отклонения от схемы формируются на уровне конкретного повествователя, «отвечающего» за речевое воплощение схем, что позволяет рассматривать его как художественно-коммуникативную составляющую категории автора.

Примером взаимосвязи модели мира с синтаксическим и прагматическим уровнями в «каноническом» типе текста может послужить следующий: один из основных организующих христианскую модель мира принципов – принцип идейной и образной оппозилярности. Он воплощается в литературных христианских текстах в форме внутренней симметричности повествования – как в виде оппозилярности персонажей (ангел – бес, святой – мирянин, мученик – мучитель), так и на уровне сюжета. Последнее выражается в таком построении текста, при котором финал уравнивает начало: если в начале текста появляется отношение «разбойник – святой» в противопоставлении неверия и веры, наущения беса и воли Бога, при котором разбойник как бы торжествует, а святой терпит от него, то в конце та же пара демонстрирует истинную (т. е. предустановленную Богом) расстановку сил: происходит или резкое изменение и обращение разбойника, или его наказание. Безусловно, идея того, что после преступления заповедей неизбежна божья кара, после духовного подвига – небесная награда, – это религиозная константа, однако ее выражение в виде зеркально-симметричной повествовательной структуры уже является свойством литературного текста: именно таким образом он реализует прагматическую функцию. Интересно, что феномен симметричности повествования (или изображения) в средневековых текстах всегда связан с назидательностью. Подтверждением тому служит факт, на который указал Г.К. Вагнер, описывая различные иконописные сюжеты: «Символично-догматические образы не мыслились без фронтальности и симметрии. Симметризм, внепространственность и вневременность полностью господствовали в чисто догматических изображениях» (Проблемы 1985, 314).

Задача данной статьи – рассмотреть различные повествовательные структуры в составе Киево-Печерского патерика и проанализировать их изменения в рамках «картина мира – жанр – повествователь».

Патерик в одном из значений – особый жанр христианской литературы: поучительное собрание чудесных историй о жизни подвижников, монахов и старцев. Киево-Печерский патерик – первое оригинальное древнерусское произведение в этом жанре. Оно состоит из четырех частей: «Жития Феодосия» Нестора, повести о первых черноризцах печерских, послания епископа владимирского Симона и ответного послания Поликарпа. Первые две части были написаны во второй половине XI в., две другие – в первой половине XIII в. (правда, в двух Касьяновских редакциях патерик начинается пятью рассказами из Симонова послания: Симон пересказывает легенды о чудесах, случившихся при построении Богородичной церкви). В Несторовой части патерика рассказы, как правило, представляют собой неразвернутые симметричные структуры (болезнь – исцеление, кража – обнаружение, обман – наказание и т. д.). В посланиях Симона и Поликарпа, написанных через сто с четвертью лет после «Жития Феодосия», те же схемы насыщаются собственно художественным материалом: образами, символикой, эпизодами.

Различная степень разветвленности сюжета или образной насыщенности (т. е. собственно художественного материала) в рамках назидательного

средневекового текста объясняется усилением его занимательной стороны – видимого, конкретного и единичного. Представляется, что это может происходить не по желанию автора, а вследствие устного бытования той или иной истории какое-то время – значит, вследствие реализации особенностей бытования легенды. Названные особенности предопределяются феноменом коллективного творчества, в результате которого возникают тексты, в совокупности версий реализующие художественный потенциал каждого мотива. Подобное предположение подтверждается при сопоставлении рассказов из жития Феодосия, автор которого пришел в монастырь через несколько десятилетий после его смерти, посланий Симона и Поликарпа, собиравших уже столетние легенды, и различных византийских легенд, многие из которых бытовали «в народе» веками.

Например, в «Житии Феодосия» есть маленький рассказ о том, как Ларион пожаловался старцу на бесов, что бесчинствуют по ночам в его келье. Тогда Феодосий посоветовал не покидать келью и молиться, Ларион последовал его совету, и бесы исчезли. В историях, записанных Симоном и Поликарпом, противостояние бесам становится темой, полной устрашающих подробностей: бесы являются в виде огненного змея или ангелов и могут заставить плясать до потери сознания. Полную реализацию художественного потенциала конфликта «бесы (дьявол) – святой» можно увидеть в рассказе о Нафанаиле из патерика «Лавсаик» (Византийские легенды 1972), приписываемого Палладия из Еленополя (конец IV – первая половина V в.). Форма служения Богу здесь условна до парадоксальности: Нафанаил ни в коем случае не должен выходить из пещеры. Соответственно дьявол пытается выманить его любыми средствами. Кульминацией становится явление дьявола в образе мальчика, который попал в беду и жалобно просит помощи – разумеется, старец находит в себе силы противостоять искушению протянуть ему руку. Очевидно, что при всем различии художественного материала все эти повествования обладают подобными повествовательными структурами, так как транслируют одну и ту же схему, отсылающую к логике средневековой христианской модели мира. Так, оппозиция «бес – святой» – вариант фундаментальной дихотомии, включающей изоморфные противопоставления плоти и духа, греха и безгрешности, неверия и веры и т. д. Отличие повествовательных структур трех рассказов лежит в различном распределении отношений между схемой и повествователем: в них по-разному происходит художественное усложнение текста, в результате которого назидательное – т. е. «идеальная норма» – все заметнее сменяется занимательным – «из ряда вон выходящим». Художественное распространение «канонической» жанровой схемы происходит благодаря реализации художественного потенциала элементов, значимых в системе «картина мира – жанр – повествователь», по заданным традицией направлениям. Одним из объяснений указанного процесса может послужить мысль Ю.М. Лотмана об отличии механизмов бесписьменной культуры от механизмов письменной: ученый отмечал, что первые предполагают более сложные семиотические структуры по сравнению со вторыми, так как «покоятся на свободных связях с различными семиотическими контекстами» (Лотман 1996 [а], 351). Значит, изустно передаваемое повествование обладает более «многовалентными» элементами – однако все «присоединения» происходят в рамках определенной жанровой схемы.

Если верно, что художественное в средневековом и фольклорном типах текстов развивается в связи со спонтанным движением к все большей условности (усложненности) по заданным направлениям, то можно утверждать, что сказания о первых черноризцах печерских прошли сравнительно длительную стадию устного бытования (эти четыре сказания были присоединены к патерику в XIII в., а записаны впервые Нестором в «Повести вре-

менных лет»). Именно в них предлагается и развивается мотив ложного чуда как антитезы чуду истинному. Например, в одном из них приводится история об «антивидении» преподобного Матфея, увидевшего в церкви беса с цветами: бес цеплял лютики на молящихся, чтобы те забывали о молитве. Мотив ложного чуда доводится до предела своего художественного потенциала в сказании об Исаакии Печернике. Так, Исаакий увидел свет «яко от солнца, яко и зрак человеку отымати», после чего «поидоша к нему два уноши прекрасне, и блистастся лица их, аки солнце» (цит. по: Патерик 1907). Ослепительный свет – традиционная деталь при явлении божественного, прекрасные юноши – традиционный образ, в котором являются божьи посланники. Не удивительно, что Исаакий поклоняется им как ангелам во главе с Иисусом, но его видение оказывается «ложным» и соответственно бесы заставляют Исаакия танцевать до изнеможения под гусли и сопели. Мотив различения истинного и ложного, скрытых под неотличимыми формами, существует также в фольклоре. Например, в такой универсальной и веками выработанной художественной системе, как волшебная сказка, истинный герой может быть «волос в волос, голос в голос» подобен на своих братьев (которые впоследствии нередко предают его в подземном царстве). Безусловно, сходство здесь структурно-типологическое: и сказание об Исаакии, и волшебная сказка прошли достаточный путь устного бытования, чтобы полностью реализовать художественный потенциал конфликтобразующего противопоставления – т. е. пришли к демонстрации противоположности через внешнюю неразличимость форм.

Отмеченное выше отличие в повествовательных структурах писаний Нестора, Симона и Поликарпа интересно сочетается со знаковой спецификой чудес в каждой из частей. Чудо – наглядное и осязаемое проявление воли Бога, знак, демонстрирующий «неизрекаемое» содержание путем отмены законов реального мира. В силу специфики своей знаковости чудо обладает бесконечным художественным потенциалом. По словам С.С. Аверинцева, центральным чудом Ветхого и Нового заветов является вмешательство «бесконечного и безусловного в конечное и случайное, схождение вечного в исторически единичное» (Философская энциклопедия 1977, V, 122). В Новом завете это вмешательство воплощается в таких типах знаков-«медиаторов», как *тело*, *природа (стихия)* и *пища* (чудо теофании можно также условно отнести к типу «природа»).

Тема чуда особым образом связана с повествовательными структурами рассказов Киево-Печерского патерика и их художественной динамикой. Чудо на сюжетном уровне является способом разрешения конфликта – значит, сюжетная ситуация и тип знака, в котором воплощается чудо, указывают на конфликтобразующую границу текста. В широком смысле – в качестве важнейшего топологического признака культурного и художественно-литературного пространства – понятие «граница» введено Ю.М. Лотманом. «Граница делит все пространство текста на два взаимно не пересекающихся подпространства. То, каким образом делится текст границей, составляет одну из существенных его характеристик» (Лотман 1970, 278). Также ученый указывает, что граница напрямую связана с сюжетом, который образуется «перемещением персонажа через границу семантического поля» (Лотман 1970, 282). Можно уточнить, что «перемещение» в данном контексте не обязательно означает путешествие героя, скажем, на Тот свет, но также предполагает тему столкновения персонажа (персонажей) с «иным»: например, свидетельство чудесного появления храма. Для понимания взаимосвязи границы с повествовательной структурой важно отметить, что граница внутри литературного художественного текста является вариантом границы внутри определенного культурного пространства (картины мира). В

наиболее отвлеченном смысле Ю.М. Лотман выводит понятие границы на уровень модели мира.

Четыре части патерика различаются по типологии и месту пролегания границы, что напрямую связано со знаковым типом чуда. Так, в сказании о чудесном построении первой церкви монастыря из послания Симона (которым начинаются Касьяновские редакции) описывается, как Бог указывает и расчищает место для церкви: *«И абие спаде огнь съ небеси и пожже вся древа и тръние, и росу полиза, долину сътвори, якоже рвомъ подобно»* (Патерик 1907, 7). Этим чудом Бог приближает Святую гору к себе, что задает и объясняет острую конфликтность сказаний, записанных Симоном. Подобные конфликты лежат в той сфере разлома, что привнесена в литературу именно христианством, – сфере дуалистичности человеческого существования. Граница в большинстве рассказов пролегает между «телесным» и «духовным» (первое модель христианского мира маркирует как «ложное, временное», второе – как «истинное, вечное»). По этой логике духовная жизнь монаха драматичнее и конфликтнее, чем жизнь «простого смертного». Так, в Симоновых сказаниях появляется мотив неправедного монаха. Например, в истории о «недостойном мнихе» рассказывается, как последний, по наружности не отличавшейся от святого, внезапно умер, и от тела его пошел невыносимый смрад, и только явление преподобного Антония спасло недостойного от ада и наполнило пещеру благоуханием. В качестве соответствующего повестям о неправедных монахах антитезиса Симон приводит три истории в жанре мартирия: монахи подвергаются истязаниям, терпят за веру и чудесным образом оказываются невредимы, а их мучители наказаны. Таким образом, в рассказах из послания Симона преобладают чудеса, связанные с телом, наиболее остро и чувственно демонстрирующие читателю (слушателю) божественную волю. Кроме приведенных выше примеров, «чудесам о теле» в его посланиях также посвящены повествования: о распятом мученике, тело которого порождает видения и чудеса; о преподобном Афанасии, при теле которого свершается чудо исцеления; о Евагрии, не примирившемся с Титом у его смертного ложа, в результате чего первого поражает страшная и внезапная смерть, а второй исцеляется.

В сказании Нестора о появлении Печерского монастыря нет чудес, но упоминаются князь Святополк Окаянный и благочестивый Ярослав, чем задаются такие конфликты, как столкновение с нехристолюбивым князем, сопротивление собственным родителям (Феодосий и мать, боярин Иоанн и сын), нападение разбойников – т. е. столкновение с мирским и внешним. Таким образом, для Нестора конфликтообразующая граница находится на стыке праведного монастырского и светского миров, а внутреннее монастырское бытие тяготеет к бесконфликтности. Потому в «Житии Феодосия» в принципе не может появиться история о монахе, тело которого смердит после смерти, а все чудеса связаны с храмовым или монастырским пространством (например, поднятие в воздух церкви, полной монахов, на глазах у разбойников или столб света над монастырем). Еще один знак-«медиатор», посредством которого в несторовом писании проявляется божья воля, – это пища. В монастыре при первом же сообщении о недостатке чудесным образом появляются деньги, хлеб, мед, вино, а молитвы братьев делают еду и питье сладкими. Эти чудеса с пищей развивают две самые оптимистичные библейские логики: сравнение верующих с птицами небесными, которые, как известно, не жнут, не сеют, но уповают на милость божью, и фразу «не заботься об утреннем – ибо утреннее само позаботится о себе». Тяготение «Жития Феодосия» к гармоничности – вечности – бессобытийности обуславливает нераспространенность «назидательной» симметрии: например, к боярину является во сне Богородица с просьбой сдерживать обещание, о котором он забыл (дать две гривны злата и оковать венец

на ее икону в Богородичной церкви) – боярин пугается и делает все, что нужно. (Можно сравнить с художественным усложнением и усилением мотива ночного диалога с Богородицей, приведенного в Скитском патерике: Богородица трижды является во сне скомороху с требованием прекратить шутить над ее именем на игрищах и на третий раз «пречистым перстом» отсекает ему руки и ноги, что подтверждается наяву.)

Внутреннее единство монашеской жизни и нераспространенность повествовательной симметрии отсылают к определенной гносеологической модели (шире – картине мира первых веков христианства на Руси). Наиболее полно эта модель представлена в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, оптимистично возвестившего новую эпоху с момента снисхождения «благодати» на Русь. Очевидны параллели между верой Илариона в возможность гармоничного сосуществования «града земного» и «града небесного» и просветительской работой Феодосия над княжеским политическим сознанием.

На примере сказаний из послания Поликарпа можно проследить художественную динамику повествовательных структур, связанных со знаками «пища» и «тело». Так, тему чудес, связанных с телом, он продолжает впечатляющими рассказами об умерщвлении плоти, вызывающем явление огненного змея, и о Марке Печернике, который повелевает мертвыми телами; чудеса, связанные с пищей, рожают «оксюморонный» мотив «соль из пепла» (сказание о Прохоре Лебеднике, превращавшего для бедных пепел в соль). Наиболее ярко процесс реализации художественного потенциала семантического пространства, связанного с границей «телесное – духовное», проявляется в поликарповом сказании о многострадальном Пимине. В этом сказании появляется художественный феномен, который С.В. Полякова применительно к поэтике византийских легенд назвала «антиэстетизмом» (Полякова 1972). Так, формой служения Пимина Господу становится пребывание в тяжелой болезни, во время которой его тело изгибает и издает невыносимый запах. Свою болезнь Пимин терпит и не просит у Бога исцеления ради вечной жизни, где душа его исполнится благоухания. Интересно, что в византийском житии блаженного Симеона Столпника, где оппозиция «тело – душа» трактуется в том же антиэстетическом русле, «наращивается» еще один ряд образов и деталей (например, гниющая веревка, ввешенная в тело Симеона, или его постель, кишасящая червями).

Получается, что разные части Печерского патерика описывают различные по знаковому типу чудеса, а также по-разному акцентируют и конкретизируют заданные традицией мотивы и образы. Таким образом подтверждается выдвинутое выше предположение, согласно которому текст, ориентированный на авторитет канона, стремится реализовать художественный потенциал каждого из структурирующих его направлений (противопоставлений, сюжетных мотивов, способов взаимодействия образов и т. д.), нередко отодвигая на второй план назидательное и религиозное предназначение того или иного жанра. Первичным вариантом прагматической повествовательной структуры может стать текст, построенный в форме нераспространенной повествовательной симметрии. Пределом художественной реализации того или иного жанра становятся повествовательные структуры, в которых особым образом перераспределяется соотношение «картина мира – жанр – повествователь»: схема, порождаемая картиной мира (вернее, каким-либо ее значимым структурным фрагментом), и соответственная прагматическая функция текста как бы оказываются во власти художественного космоса жанра. Образ автора при этом остается тем же, зато фигура повествователя получает возможность «коммуникативной инициативы». В итоге назидательная прагматика приближается к собственно художественной – занимательной.

Літаратура

- Аверинцев С.С. Чудо // Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1977. Т. 5.
 Вагнер Г.К. Еще раз о жанрах в древнерусском искусстве // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.
 Византийские легенды / Под ред. С.В. Поляковой. Л., 1972.
 Лихачев Д.С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 3.
 Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М., 1970.
 Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – семиосфера – история. М., 1996 [а].
 Патерик Киевский Печерского монастыря / Под ред. Д.И. Абрамовича. СПб., 1907.
 Полякова С.В. Византийские легенды как литературное явление // Византийские легенды / Под ред. С.В. Поляковой. Л., 1972.

Поступила в редакцию 16.03.2001.

Смирнова Ольга Александровна – аспирант кафедры теории литературы. Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Т.И. Шамякина.

Н.В. ДЗЯНІСАВА

ПРАБЛЕМЫ АЎТАПЕРАКЛАДУ І АЎТАРЫЗАЦЫІ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПЕРАКЛАДАЎ РАМАНА ІВАНА МЕЛЕЖА «МІНСКІ НАПРАМАК»)

В статье исследуется почти незатронутая переводоведением проблема авторского перевода и авторизации. Названная проблема раскрывается на материале русского воссоздания романа И. Мележа "Минское направление", что не рассматривалось в белорусском литературоведении. Этим обусловлена новизна статьи. Выводы, содержащиеся в статье, обоснованы, подкреплены конкретными примерами.

In the article the author investigates the problem of translation and authorised translation on untouched in scientific translation.

This problem is settled on materials of Russian re-creation of I. Melezh's novel "Direction on Minsk", that hasn't been discussed in Belarusian study of literature. This caused the novelty of the article. Conclusions in the article are substantiated, supported by concrete examples.

Цэлы спектр праблем, звязаных з найбольш вострымі пытаннямі мастацкага перакладу, на сённяшні дзень з'яўляецца маладаследаваным. Пытанне аўтарскага перакладу (аўтаперакладу) як віду літаратурна-мастацкай творчасці і галіны мастацкага перакладу аналізуецца ў гэтым артыкуле. Пры стварэнні аўтаперакладаў перад пісьменнікамі ўзнікаюць праблемы, падобныя да тых, што стаяць і перад прафесійнымі перакладчыкамі, але яны маюць і сваю спецыфіку. Добрае веданне пісьменнікам мовы, на якую ён перакладае свой твор, з'яўляецца галоўнай умовай аўтаперакладу. Калі перакладаецца твор не аўтарам, то ён пераасэнсоўваецца ў адпаведнасці з заканамамі ўспрымаючай мовы і творчай манерай перакладчыка, які пры гэтым акцэнтуюе ўвагу на нейкіх элементах, нешта згладжвае, але не мяняе макраструктуру твора: кампазіцыю, ідэю, змест. Калі ж перакладае аўтар, то звычайна ён імкнецца да мастацкага ўдасканалення на ўзроўні не толькі мікраструктуры, але і макраструктуры твора. Іншамоўнае, іншакультурнае асяроддзе вымагае падчас такіх змен у творы, пры якіх адбываецца яго «перасачыненне». Аўтар, у адпаведнасць з перакладчыка, мае права ўносіць пэўныя карэктывы з мэтай удасканалення перакладу, бо толькі ён у поўнай ступені разумее характар свайго твора, суадносіны ў ім важнага і друга-раднага і вызначае варыябельнасць або інварыянтнасць яго пэўных элементаў. Аўтарскі пераклад з'яўляецца заканамернай з'явай там, дзе існуе білінгвізм: «...такая ступень актыўнага валодання індывідам, акрамя асноўнай, другой мовай, якая забяспечыць яму паўнацэннае ўспрыняццё мастацкага твора, напісанага на гэтай (другой) мове. Паўнацэнна ўспрымаць – гэта значыць не толькі разумець сэнс твора, але і атрымліваць ад прачытанага эстэтычнае задавальненне» (Рагойша 1980, 38).

Спрыяльныя ўмовы для свайго развіцця білінгвізм атрымаў ва ўмовах былога СССР, дзе руская мова была сродкам міжнацыянальных зносін: ёю

шырока карысталіся ў дзяржаўных установах, на прадпрыемствах, у быццё, вывучалі ў школах. Праз рускую мову ішло знаёмства са здабыткамі сусветнай культуры і літаратуры на Беларусі, і яна служыла пасрэдніцай пры ўзаемаабмене іншых народаў лепшымі ўзорамі нацыянальных літаратур. І ў цяперашні час у нашым бікультурным грамадстве пры жорсткай кан'юнктуры кніжнага рынку літаратура на рускай мове мае большую перавагу: тыражы беларускамоўных выданняў далёка адстаюць ад рускамоўных, што ў пэўнай ступені ўплывае на распаўсюджванне аўтарскага перакладу.

Побач з аўтарскім стаіць аўтарызаваны пераклад твора на іншую мову, прагледжаны і ўхвалены аўтарам. Аўтарызацыя дапамагае лепш перадаць змест, нацыянальныя і індывідуальныя асаблівасці стылю арыгінала, дае магчымасць аўтару, калі ён валодае мовай, на якую ўзнаўляецца яго твор, павысіць мастацкі ўзровень перакладу, прычым значна зніжаецца верагоднасць скажэння арыгінала і павышаецца дасканаласць перакладу.

На аснове названых тэарэтычных палажэнняў аналізуецца арыгінальны перакладны тэкст рамана Івана Мележа «Мінскі напрамак». У творчасці Івана Мележа «Мінскі напрамак» займае асаблівае месца. Напісаны першачаткова як сацыяльны заказ прэзіі, які яшчэ не меў вопыту стварэння эпічных твораў, гэты раман прыносіў пісьменніку шмат турбот на працягу дваццаці пяці гадоў. Пісаўся твор з 1947 па 1952 г., але пазней Іван Мележ, не задаволены існуючым варыянтам і ўжо будучы аўтарам эпічнага палатна «Палеская хроніка», неаднаразова перапрацоўваў раман. Пры жыцці пісьменніка «Мінскі напрамак» выдаваўся ў 1950, 1952, 1958, 1970, 1973 і 1974 гг. Акрамя таго, выходзілі з друку яшчэ і аўтарызаваныя пераклады гэтага твора: у 1954 г. (перакладчык Л.С. Шапіра), у 1961, 1963 гг. (перакладчык Л.М. Ракоўскі).

Галоўнай прычынай шматразовай перапрацоўкі рамана з'яўлялася жаданне Івана Мележа давесці свой твор да належнага мастацкага ўзроўню. Аўтар пісаў твор на пачатку літаратурнай дзейнасці, калі не меў яшчэ вопыту ў галіне эпічнага жанру, і вялікая патрабавальнасць да сябе і адчуванне адказнасці перад чытачамі вымушалі Івана Мележа неаднаразова вяртацца да свайго рамана. Праца вялася на ўзроўні макра- і мікраструктуры тэксту: узбагачаліся партрэтныя характарыстыкі і паглыблялася псіхалогія герояў твора; з мэтай удасканалення мовы і стылю рамана перапрацоўваліся і замяняліся як асобныя словы, спалучэнні слоў, сказы, так і цэлыя абзацы тэксту; мяняліся некаторыя імёны і прозвішчы герояў; выкрэслівалася тое, што пісьменнік лічыў лішнім, і дадаваліся новыя звесткі. Аўтарызаваныя пераклады давалі магчымасць пазнаёміць з творам усесаюзнага чытача і дазвалялі пісьменніку ўдасканаліць свой твор. Наконт гэтага Іван Мележ зазначаў: «Вельмі шмат часу, сіл і нерваў прыйшлося мне патраціць на аўтарызацыю першых перакладаў, а потым і на іх перавыданні. Для мяне працэс аўтарызацыі перакладу – адзін з важных і цяжкіх этапаў перад сустрэчай з чытачом. І першы, і другі пераклады рамана патрабавалі вялікай работы, на іх патрачана некалькі месяцаў штодзённай, напружанай працы» (Мележ 1980–1984, VIII, 516). Эстэтычна адукаваны чытач спасцігае мастацкі твор комплексна: ён адначасова разумее сам твор, яго змест і асобу пісьменніка, яго адносіны да жыцця і глыбока схаваныя, падчас нават не да канца ўсвядомленыя самім аўтарам прычыны, якія вызначылі ідэйны накірунак твора. Аўтарызаваны варыянт павінен пазбавіць перакладчыка, а праз яго і чытача ад рознага віду скажэнняў арыгінальнага матэрыялу і забяспечыць найбольш дасканалае мастацкае ўзнаўленне.

Першую, даволі значную дапрацоўку «Мінскага напрамку» Іван Мележ зрабіў якраз пры падрыхтоўцы рускага перакладу Л.С. Шапіра ў 1954 г. Гэта выданне рамана выйшла са шматлікімі моўнымі і стылёвымі праўкамі. У каментарыях да чацвёртага тома збору твораў Івана Мележа А.Д. Атаева

адзначыла: «Перакладчык паставіўся да тэксту рамана безадказна, дапусціў адвольныя скарачэнні...» (Мележ 1980–1984, IV, 535). Пры супастаўленні тэкстаў названага перакладу і адпаведнага яму арыгінальнага выдання «Мінскага напрамку» 1952 г. відаць, што пэўныя скарачэнні сапраўды мелі месца. Аднак некаторыя з іх можна назваць не творчым рашэннем перакладчыка, а праяўленнем волі пісьменніка. У прыватнасці, у першапачатковым варыянце арыгінала аўтар падаў разгорнутае апісанне прыгожага сонечнага дня, каб пасля на фоне яго паказаць кантрастную, жахлівую карціну спаленай вёскі і забітых людзей (гл. Мележ 1952). У перакладзе ж засталася толькі сціслае апісанне знішчанай вёскі і яе жыхароў (гл. Мележ 1954). Адрэзанне падумаць, што гэта і ёсць тое «адвольнае скарачэнне» перакладчыка. Але ж і ў арыгіналах пазнейшага часу можна ўбачыць той жа кароткі малюнак жудаснай расправы фашыстаў. Значыць, скарачэнне зрабіў сам аўтар. Відаць, пейзажная замалёўка сваёй вясковай святочнасцю кантраставала з далейшым апісаннем трагічных падзей. У перакладзе Л.С. Шапіры ў першым раздзеле трэцяй часткі рамана з'явіўся вялікі лірычны ўступ, якога не існуе ў арыгінальным выданні 1952 г. Такі літаратурны прыём – творчае рашэнне аўтара, бо ў «Мінскім напрамку» 1958 г. ужо ёсць гэты ўступ, які ў пазнейшых выданнях ператварыўся ў тры самастойныя лірыка-публіцыстычныя звароты.

Такім чынам, аўтарызацыя сведчыла аб няспыннай працы Івана Мележа над сваім раманам, таму што «мяжы ўдасканальванню няма і ніколі не будзе. З гадамі, з узростам пісьменніка расце патрабавальнасць да кожнага свайго слова. Тое, што ўчора здавалася бездакорным, сёння аказваецца зусім непрымальным для самога ж сябе. Значыць, мяняецца яно і для чытача, які таксама разумнее. Пісьменнік не мае права не ўлічваць гэтага...» (Матукоўскі 1982, 287).

Наступным пераклад рамана ажыццявіў у 1961 г. Л.М. Ракоўскі (гл. Мележ 1961) з арыгінала 1958 г. выдання (гл. Мележ 1958). Гэты перакладчык аказаўся больш уважлівым і не дапусціў многіх памылак, якія зрабіў Л.С. Шапіра. Увогуле, для перакладчыцкай манеры Л.М. Ракоўскага характэрна імкненне як мага дакладней пераўвасобіць арыгінал. У некаторых выпадках ён перакладае проста слова ў слова. Але такі пераклад нельга назваць літаральным. Перадаючы дакладна сэнс слоў, Ракоўскі адлюстроўвае і ўсю канкрэтнасць, што стаіць за гэтымі словамі, – думку, вобраз, эмоцыю. Такім чынам, твор не губляе сваіх мастацкіх якасцей. Часам перакладчык дазваляе сабе невялікую вольнасць, але ўсё ж у пэўных межах.

Кожны рускамоўны варыянт «Мінскага напрамку» рабіўся з новай рэдакцыі арыгінала, і ўсё ж аўтар не застаўся задаволены перапрацоўкамі і вырашыў сам заняцца перакладам уласнага твора. Рыхтуючы раман да перавыдання на беларускай мове ў зборы твораў 1974 г., Іван Мележ істотна дапоўніў яго і перапрацаваў. У гэты час ён зрабіў і аўтапераклад, які поўнасьцю адпавядае гэтай апошняй рэдакцыі (гл. Мележ 1973).

У першую чаргу паўстае пытанне: чаму аўтар сам узяўся за пераклад уласнага твора? Па-першае, як ужо адзначалася вышэй, «Мінскі напрамак» быў у чарговы раз перапрацаваны, палепшаны з мастацкага пункту гледжання. Іван Мележ з уласцівым яму пачуццём адказнасці за свой твор перад чытачамі не мог дапусціць, каб і на рускай мове раман быў недасканалым. Па-другое, вядомы розныя меркаванні пісьменніка наконт мастацкага перакладу ў цэлым і аўтарызаванага ў прыватнасці. Вось адно з выказванняў: «Аўтарызацыя ў тым выглядзе, у якім яна цяпер існуе, не гарантуе ад дрэнных перакладаў, але, па сутнасці, стварае безадказнасць: хто ж адказвае за якасць перакладаў? Пры цяперашняй форме аўтарызацыі за якасць перакладу як быццам больш адказны аўтар: ён жа адобрыў, аўтарызаваў... Аўтар няхай глядзіць і правіць, але адказнасць за пераклад няхай нясе аў-

тар перакладу» (гл. Мележ 1980–1984, VIII, 234). Падобныя выказванні наводзяць на думку, што Іван Мележ быў незадаволены аўтарызаванымі перакладамі «Мінскага напрамку», і гэта таксама абумовіла яго зварот да аўтаперакладу. У чым жа яго адметнасць?

Звернем увагу на значную набліжанасць аўтаперакладу да арыгінала. Напрыклад:

Увесь гэты дзень Чарняхойскага вярэдзіла неспакойнае, непатрэбнае чаканне. Ён не любіў корпацца ў сваіх пачуццях, чалавек дзейсны, заклапочаны мноствам неабходных, неадкладных спраў, ён звык займацца тым, што неабходна было рашаць, але пачуцці, зусім непатрэбныя цяпер, упарта лезлі ў душу яму, узрушалі, кволілі (Мележ 1980–1984, IV, 36).

Весь этот день Черняховского томило тягостное ожидание. Он не любил копаться в своих чувствах; человек деятельный, озабоченный множеством важных, неотложных дел, он привык заниматься тем, что необходимо было решать, а чувства, совершенно ненужные сейчас, упорно лезли к нему в душу, волновали, расслабляли (Мележ 1973, 362).

Пісьменнік, крыху ўдакладняючы, нязначна папраўляючы свой твор у перакладзе, застаецца верным сабе: сваёй мастацкай задуме, свайму стылю, канкрэтнаму эпізоду, псіхалагічнаму малюнку. Мележу добра ўдаецца перадаць сродкамі рускай мовы ўласцівую яму мяккасць, дакладнасць і пачуццёвасць апавядання. Напрыклад, партрэтны малюнак Ніны Лагуновіч захоўвае ў рускамоўным варыянце ўласцівую яму пластычнасць, перадае някідкую прыгажосць дзяўчыны і аўтарскую замілаванасць гэтым вобразам:

З лютэрка глядзелі на яе шэрыя, стомленыя вочы. У чатырохкутніку былі яшчэ відаць роўны, крыху кірпаты нос, заклапочаны лоб і русыя, спераду крыху выгаралыя на сонцы, валасы. Ніна была прыгожая няяркім, сціплым характам. Асабліва прываблівыя былі яе вочы: шэрыя, часам блакітныя, як бы засмужаныя, яны пазіралі з нейкай светлай удумліваасцю і сардэчнасцю. Прыгожа акрэсліваліся мяккія, нібы прыпухлыя вусны (Мележ 1980–1984, III, 262).

Из зеркала смотрели на нее серые усталые глаза. В четырехугольнике были видны ровный, немного курносый нос, озабоченный лоб и русые волосы. Нина была красива неяркой, скромной красотой. Особенно привлекательны были ее глаза: серые, голубоватые, словно подернутые дымкой, они смотрели с какой-то светлой задумчивостью и сердечностью. Красиво очерчивались мягкие, будто припухшие губы (Мележ 1973, 223).

На падставе аналізу аўтаперакладу рамана «Мінскі напрамак» і супастаўлення яго з арыгінала можна зрабіць вывад, што аўтарскі пераклад з'яўляецца рускамоўным варыянтам арыгінальнага твора. Апрача ўсяго, праца Івана Мележа над раманам на працягу 25 гадоў, у тым ліку і ўда-сканаленне твора ў час працы над аўтарызаванымі і аўтарскім перакладамі, можа служыць цікавым прыкладам для вывучэння псіхалогіі літаратурнай творчасці. Сярод літаратуразнаўцаў, крытыкаў і саміх пісьменнікаў бытуюць розныя погляды адносна мэтазгоднасці перапрацоўкі і дапрацоўкі аўтарам свайго твора пасля таго, як з часу яго выхаду ў свет праходзіць не адзін год, а нават дзесяцігоддзі. Ёсць пісьменнікі, якія не перапрацоўваюць свае творы. Магчыма, таму, што перш чым пачаць пісаць, доўга і дасканала абдумваюць, выношваюць свае ідэі, магчыма, таму, што проста не жадаюць уносіць нейкія змены, паколькі лічаць іх нязначнымі. Кожны твор адлюстроўвае пэўны перыяд у творчай эвалюцыі пісьменніка і з'яўляецца як бы яе сведчаннем. Іван Мележ прытрымліваўся іншай думкі: «Я ж перакананы, што перад кожным перавыданнем твор, калі ён у чым-небудзь не задавальнае, пісьменнік абавязаны правіць... Я бачу ў гэтым асабістую аўтарскую адказнасць за літаратурны лёс свайго рамана» (Мележ 1980–1984, VIII, 515). Гісторыя напісання «Мінскага напрамку» – яркае таму сведчанне.

Пісьменнік не толькі папраўляў раман, але і перапрацоўваў яго. Паміж двума паняццямі – папраўкі і перапрацоўкі – ёсць істотная розніца «Першыя з’яўляюцца пераважна справай крытыкі, густу; другія – новага ўжывання, блізкага да першаснага натхнення» (Арнаудов 1970, 521). Папраўкі не ўплываюць на задуму твора, на яго агульны эмест і звычайна ўяўляюць нейкія скарачэнні ці замену асобных слоў або словазлучэнняў, якія не закранаюць у цэлым думкі, ідэі ці вобраза. Такія змены маюць месца і ў варыянтах арыгінальнага тэксту, і ў аўтарызаваных перакладах, і ў аўтаперакладзе «Мінскага напрамку». Перапрацоўкі цягнуць за сабой парушэнне пачатковай цэласнасці твора, патрабуюць больш глыбокага пранікнення ў яго эмест і мастацкую структуру, у выніку чаго твор можа істотна змяніцца. Іван Мележ змяняў структуру рамана, уводзіў новыя эпізоды і герояў, дыялогі і пейзажныя замалёўкі, выкрэсліваў тое, што лічыў непатрэбным. Змены, якія назіраюцца ў першым аўтарызаваным перакладзе, маюць месца ў пазнейшым арыгінальным выданні. Аўтарскае ўзнаўленне таксама з’яўляецца этапам у доўгім працэсе перапрацоўкі рамана. Гэта з’ява была абумоўлена творчай эвалюцыяй Івана Мележа і стала для яго сапраўднай школай пісьменніцкага, ды і перакладчыцкага майстэрства.

Такім чынам, аўтапераклад рамана «Мінскі напрамак» разам з аўтарызаванымі перакладамі Л.С. Шапіры і Л.М. Ракоўскага з’явіўся не толькі сродкам азнаямлення рускамоўных чытачоў з гэтым творам, сродкам яго папулярызацыі, але, галоўнае, выступіў як спосаб яго мастацкага ўдасканалення.

Літаратура

- Арнаудов М. Психология литературного творчества. М., 1970.
 Матукоўскі М. Апошнія інтэрв’ю: Успаміны пра Івана Мележа. Мн., 1982.
 Мележ І. // 36. тв.: У 10 т. Мн., 1980–1984. Т. 3, 4, 8.
 Мележ І. Мінскі напрамак. Мн., 1952.
 Мележ І. Мінскі напрамак: Раман у 2 т. Мн., 1958. Т. 1, 2.
 Мележ И. Минское направление. М., 1954.
 Мележ И. Минское направление. М., 1973.
 Мележ И. Минское направление. М.; Л., 1961.
 Рагойша В. П. Проблемы перевода с близкородственных языков. Мн., 1980.

Паступіла ў рэдакцыю 05.09.2000.

Дзянісава Наталля Васільеўна – выкладчык кафедры беларускай мовы і літаратуры Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры.

І.Б. ЛАПЦЁНАК

ПРАБЛЕМА ўзнаўлення МЕТРЫЧНАГА ВЕРШАВАННЯ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ПЕРАКЛАДАЎ ЯЗЭПА СЕМЯЖОНА І УЛАДЗІМІРА ШАТОНА ПАЭМЫ «ПЕСНЯ ПРА ЗУБРА» МІКОЛЫ ГУСОЎСКАГА)

Проблема воспроизведения латинской метрики в белорусском тексте выделяется не только на уровне перевоссоздания схемы чередования, но и на уровне ее просодикоритмического соответствия системе оригинала. При исследовании художественных переводов автор использует литературоведческий и лингвистический виды анализа, статистические подсчеты.

The problem of Latin metrics reproduction in Belarusian text is emphasized not only on the level of recreation of the alternation schemes, but also on the level of its prosodical and rhythmic accordance to the schemes of the original. In the research of the artistic translations the author uses literary and linguistic kinds of analysis, statistical calculations.

Паэма Гусоўскага «Песня пра зубра» ўпершыню была адкрыта на Беларусі для шырокай грамадскасці ў 1968 г. перакладам Семяжона і Парэцкага на рускую мову (гл. Нёман 1968). У 1969 г. з’явіўся пераклад на беларускую мову Семяжона (гл. Полымя 1969), у 1994 г. – Шатона (гл. Гусоўскі 1994), у

1978–1982 гг. быў створаны, у 1997 г. апублікаваны пераклад Н. Арсенневай (гл. Крыніца 1997).

Дадзены твор – выдатны ўзор лацінамоўнай пісьменнасці эпохі Адраджэння. Велізарнейшы ахоп гістарычных, палітычных і культурных з’яў, часавыя напластаванні, філасофскія разважанні, асабістыя перажыванні паэта, пастаноўка агульнаграмадскіх праблем – усё гэта складае шматалічны спектр мастацкага адзінства паэмы. Выяўленне шырыні і разнастайнасці падзей з’явілася магчымым не толькі дзякуючы жанравай форме твора, але і яго метрычным асаблівасцям.

Сусветнае перакладазнаўства мае шырокую практыку ўзнаўлення метрычнай паэзіі, у той час як беларуская школа лічыцца адносна «маладой» (гл. Семяжон 1969, 103). У большасці еўрапейскіх літаратур метрычны верш ужо больш за сто гадоў перадаецца сілаба-тонікай. Пры гэтым захоўваецца прыблізная схема арыгінала, чаргаванні складоў (доўгім складам адпавядаюць націскныя склады, кароткім – ненаціскныя). Дадзены тып узнаўлення тэхнічна не з’яўляецца асабліва цяжкім, аднак выклікае праблему адпаведнасці сістэме арыгінала.

Існуюць падлікі замежных перакладазнаўцаў, якія даследавалі стасункі лацінскай – англійскай, лацінскай – чэшскай моў. Паводле іх назіранняў семантычная насычанасць латыні з’яўляецца меншай у параўнанні з вышэйадзначанымі мовамі, што стварае праблему пазбаўлення ад лакун (пры захаванні адпаведнай арыгіналу колькасці складоў). Былі вынайздзены наступныя шляхі яе вырашэння: пошук доўгіх слоў, дапаўненне твора злучальнымі канструкцыямі, дапаможнымі словамі, выдуманымі матывамі (гл. Левый 1974, 251).

Беларуская мова паводле даўжыні слова знаходзіцца ў іншых умовах. Частотнасць аднаскладовых структур у беларускай мове ў тры разы ніжэй, чым у англійскай (гл. Нехай 1983, 79). Калі ў першай найбольш ужывальнымі з’яўляюцца трохскладовыя словы, то ў апошняй – адна- і двухскладовыя. Аднак узнаўленне лацінскай метрыкі ў беларускім тэксце стварае іншыя праблемы. Лацінская мова належыць да ліку тых сінтэтычных моў, у якіх думка дзеліцца на меншую колькасць канцэнтраваных сэнсавых комплексаў. А гэта стварае большую сэнсавую кандэнсаванасць слова і выклікае цяжкасці ў яе эквівалентнай перадачы. Існуюць і пэўныя адрозненні паміж мовамі ў выражэнні флектыўнасці. У прыватнасці, у лацінскай мове асавовыя займеннікі ў ролі дзейніка выступаюць надзвычай рэдка, звычайна выяўляючыся ў флексіі. У той жа час у беларускай мове гэта пераважна абавязковы элемент сінтаксічнай канструкцыі, які павялічвае колькасць складоў перастварэння:

te | gunt – я | ны | па | кры | ва | юць, li | bet – ён | жа | да | е.

Такім чынам, паўстае праблема пошуку сродкаў кампенсцыі розніцы моў у змястоўнасці ўзнаўлення вершаванага твора.

Беларускамоўныя пераклады Семяжона і Шатона «Песні пра зубра» Гусоўскага ўяўляюць сабой розныя падыходы ў вырашэнні дадзенай праблемы. Сярод найбольш распаўсюджаных кампенсцыйных сродкаў перакладу Шатона можна назваць згушчэнне фразы, кандэнсаванасць сэнсавых адзінак: «Як не згадаеш сабе пра цуды сучаснага веку, Хрысталюбіўцы, аднак, хочучь усё загазаць» (Гусоўскі 1994, 20), «Можа, каб зменлівы час асілка таго не бянтэжыў, Страціў ён вока адно, бойку як з ворагам вёў» (Гусоўскі 1994, 16), «Побач са мной увесь час (і ў лесе ж сустрэнеш заганы) Хай мне рыкае ў верш грозны пачварысты звер» (Гусоўскі 1994, 10), а таксама пошук слоў з меншай колькасцю складоў («й» замест «і», «шчэ» замест «яшчэ», «нейк» замест «неяк», «воі» замест «воіны», «напад» замест «нападзење»).

Семяжон пайшоў шляхам скарачэння, апушчэння ў асобных выпадках некаторых дэталей. Напрыклад: «Et modo dent aliquid vitae mihi fata quietae, Impendam factis otia nostra tuis» (Гусоўскі 1980, 27) – «І як толькі лёс даруе мне больш-менш спакойнае жыццё, Я прысвячу наш адпачынак тваім дзеям». У Семяжона гэты выраз набыў наступны выгляд: «Будзе на свеце спакой, дык і песенька будзе» (Гусоўскі 1980, 85). Аднак у большасці выпадкаў перакладчык ішоў на адэкватную перадачу сэнсу арыгінала, у выніку чаго адбылося павелічэнне колькасці радкоў.

У арыгінале:

Tu melius scribes, ego tendam fortius arcum (Гусоўскі 1980, 12)

Ведаеш, ты лепш пішы, я буду лук трымаць

У перакладзе Семяжона:

Лепш бы ты сам пісанінай, чытач мой, заняўся,

Я ж бы займаўся работай, мне звычайна, – лукам (Гусоўскі 1980, 57).

З аднаго боку, менавіта творчае рашэнне Шатона падаецца найбольш адпаведным арыгіналу: яго пераклад не ведае страт, захоўвае ўсе найбольш істотныя змястоўна-сэнсавыя асаблівасці арыгінала. Выбраны спосаб узнаўлення – «з радка ў радок» – дазволіў перакладчыку перадаць асноўныя метрычныя асаблівасці паэмы: яе памер, метрычную схему, цэзуру. У выніку выбранага Семяжонам падыходу твор быў значна пашыраны, схема зменена, актуальнасць узнаўлення двувершам страчана (кожная строфа двуверша павінна несці ў сабе закончаную думку). З другога боку, выбраная Шатоном метрычная схема з'яўляецца толькі прыблізнай, дакладней, узорнай. Схема арыгінала больш разнастайная, а ў асобных выпадках аддаленая ад антычных узораў (гл. Дорошкевич 1979, 166).

Акрамя таго, метр арыгінала заснаваны на гібкай гульні дактыляў і спандэяў. Праблема заключаецца ў тым, што ў большасці еўрапейскіх моў спандэй узнаўляецца толькі ў выключных выпадках – пераважна на стыках двух націскных аднаскладовых слоў. І таму роля спандэяў у рытме слабее. Не з'яўляецца выключэннем і пераклад Шатона: чаргаванне дактыль – спандэй замяняецца чаргаваннем дактыль – харэй.

У арыгінале:

Talibus inventis duri mens alta Vitoldi (Гусоўскі 1980, 32)

- |^lv v |^l- ||^lv v |^lv v |^lv .

У перакладзе Шатона:

Гэтай задумай адной адважнага Вітаўта розум (Гусоўскі 1980, 34)

^lv v |^lv v |^lv |^lv v |^lv v |^lv .

Спандэічнай стапой перакладу Шатона ў сілаба-тоніцы маглі б лічыцца трэці дактыль і першы склад наступнай стапы ў пентаметры (два націскныя склады стаяць побач):

Стуль на пагібель чыюсь з посвістам пёркі ляцяць (Гусоўскі 1980, 10).

^lv v |^lv v |^l||^lv v |^lv v |^l.

Але ў дадзеным выпадку яны ўтвараюць розныя стопы і выконваюць сэнсавыяўленчую і рытмавыдзяляльную ролю, указваючы на месца цэзуры. Трэба адзначыць, што такое рашэнне патрабавала ад перакладчыка нястомных пошукаў. І хця значную іх частку ўтвараюць адна- і двухскладовыя займеннікі, прыназоўнікі, злучнікі і іншыя дапаможныя словы (яе – каб, яны – для, тым – што, вам – ад, так – быццам, той – хто, мы – як), перакладчык здолеў адшукаць двух- і трохскладовыя словаформы самастойных часцін мовы (шуміць – сціпла, зубры – ноччу, злосць – толіць, ураджай – добрая, караблі – робяць, найчасцей – сквапнае).

У той жа час выпадкі, здавалася б, поўнай адпаведнасці паміж метрычнай схемай, асаблівасцямі арыгінала і перакладам, як нядзіўна, не ўяўляюць сабой прыклады ідэнтычнасці. Адпаведная першатвору адэкватнасць метрыкі нам падаецца вонкавай. Немагчымым з'яўляецца, на нашу думку,

дакладнае ўзнаўленне галоўнай спецыфікі метрычнага вершавання – самога чаргавання. У адрозненне ад большасці еўрапейскіх моў лацінская адносіцца да ліку тых, у якіх галосныя вызначаюцца працягласцю гучання (старажытнагрэцкая, арабская, персідская, славацкая, сербахарвацкая, некаторыя мовы Індыі і інш.). І таму чаргаванне націскны – ненаціскны склад перакладу не адпавядае чаргаванню доўгі – кароткі арыгінала, паколькі ў першакрыніцы склады вылучаліся ў стопы не паводле сілы гучання, а паводле часу вымаўлення: кароткі склад – адна мора, доўгі – дзве моры. Іх узнаўленне націскнымі – ненаціскнымі прынцыпова змяняе малюнак арыгінала. Так, у першатворы павольны рытм ствараюць працяглыя склады – спандэі (– –), хуткі – дактылі (– v v). На мове перакладу з уласцівымі ёй прасодыка-метрычнымі асаблівасцямі павольны рытм, наадварот, утвараюць дактылі, а харэі (якія займаюць у перакладзе Шатона месца спандэяў) робяць рытм імклівым («Вершаваны рытм, у аснове якога ляжыць харэй, дапамагае лепшаму выяўленню настрою веселасці, гуллівасці» (Рагойша 1987, 205)). Адсюль велічнасць, узнёскасць гучання арыгінала і рэзкасць, грувасткасць, фрагментарнасць асобных момантаў перакладаў Шатона.

У арыгінале:

Nuper ad Italiam nullo mihi tempore visam

Venimus et iussi teximus istud opus (Гусоўскі 1980, 11).

У перакладзе Шатона:

Праўда, Італію шчэ і не бачыў. Мы тут нядаўна.

Ды вось павінен якраз песню пра зубра складаць (Гусоўскі 1994, 10).

У той жа час узнаўленне Сямязона атрымалася блізкім да агульных асаблівасцей гучання першакрыніцы, бо перакладчык не імкнуўся да перадачы канкрэтных метрычных асаблівасцей, а пераклаў паэму свабодным дактылічным гекзаметрам, не прытрымліваючыся радковай адпаведнасці, што надала твору неабходную працягласць:

Тут, на зямлі апенінскай, якую ніколі

Бачыць не бачыў, прашу цябе, Муза, аб гэтым.

Гаспадары пажадалі пачуць гэту песню,

Ну, а калі атрымаў даручэнне – старайся! (Гусоўскі 1980, 56).

Акрамя таго, менавіта метрычнае вершаванне было найбольш цесна звязана з мелодыяй. У старажытнасці паэт з'яўляўся і аўтарам слоў, і спеваком. У арганічнай цэласнасці, узаемапранікненні метрычных адзінак заключалася галоўная адметнасць антычнай паэзіі: «...рытмічна даволі гібкі рад, які спалучаў зыходныя, узыходныя і ўзыходна-зыходныя слоўныя адзінкі, быў моцна счэплены метрычнай схемай у адзінае цэлае і перарываўся толькі ў канцы верша альбо перад цэзурай» (Левый 1974, 256). Дадзеная асаблівасць метрыкі патрабавала строгіх адносін да натуральнасці, звязнасці ўзнаўлення, недапушчэння грувасткасці стылю перакладу. Вышэй-адзначаныя рысы з'яўляюцца адзнакамі сямязонаўскага перакладу:

Музыка наших лясоў мілагучнасцю строгай

Вуху і сэрцу мілей за літаўры і ліру (Гусоўскі 1980, 67).

Параўнаем з перакладам Шатона:

Кажуць і знаўцы яшчэ, што вясельныя гукі такія

Лепей за музыку труб, вабней мелодыі пір (Гусоўскі 1994, 16).

Ужыванне парадку слоў, не характэрнага для роднай мовы, капіраванне іншамовных канструкцый сустракаем і ў наступных узнаўленнях Шатона:

Буду калі гаварыць ... (Гусоўскі 1994, 47).

Быў літвін у той час надзвычай адметным уладцам,

Гэта ў не толькі, што ён подзвігам ратным вялік (Гусоўскі 1994, 38).

Той не паверыць, што звер гэткую меў галаву,

Сам хто зімой у пякельны мароз не бадзяўся па лесе (Гусоўскі 1994, 12).

Працягласці і плаўнасці гучання паэмы паспрыяў, на нашу думку, падзел на найменшую колькасць семантычных ядзер унутры семяжонаўскага радка. Паводле нашых падлікаў колькасць слоў у радку арыгінала і перакладаў з'яўляецца рознай: сярэдняя колькасць слоў у радку арыгінала складае 6 слоў, у Семяжона – 6,9, у Шатона – 7,5. Да ліку найбольш ужывальных радкоў у арыгінале адносяцца тыя, у якіх знаходзіцца 5 і 6 слоў у радку, у перакладзе Семяжона – 6 і 7, у перакладзе Шатона – 7 і 8.

Колькасць слоў у радку	Колькасць такіх радкоў		
	Арыгінал	Семяжон	Шатон
4	33	3	0
5	247	141	9
6	470	430	187
7	246	473	379
8	64	273	301
9	9	116	147
10	1	33	38
11	0	6	9
12	0	1	1
Сярэдняя	6,09	6,94	7,50

Дадзеная статыстыка з'яўляецца наглядным увасабленнем выяўлення спецыфікі моў і ўказвае на розніцу падыходаў перакладчыкаў пры ўзнаўленні паэмы.

Узнаўленне антычнай метрыкі – важная задача перакладу, аднак яна знаходзіцца ў полі зроку перакладчыка ў шэрагу іншых. Так, змяненне эквілінеарнасці, выкарыстанне слоў з большай колькасцю складоў не з'яўляліся пераклад-

чыцкімі прыёмамі, але арганічна вынікалі з галоўнага патрабавання семяжонаўскіх перастварэнняў – імкнення да натуральнасці гучання перакладнога твора. На думку Семяжона, узнаўленне адметнасці паэтыкі, вобразнага ладу мастацкага твора – першасная задача перакладчыка: «Перакладаць не толькі словы, але і тое, што стаіць за гэтымі словамі (падчас у падтэксце!) – ідэі і пачуцці, манеру іх выказвання, а месцамі нават і тое, што “прачытвалася” па-за радкамі, дзеля чаго гэты твор быў напісаны» (Семяжон 1980, 5). Нежаданне ж падпарадкоўвацца фармальнай адпаведнасці пацвярджала асноўны прынцып яго перакладчыцкай дзейнасці.

Такім чынам, выяўленне і даследаванне праблемы ўзнаўлення метрычнай паэзіі патрабуюць комплекснага разгляду: уліку лінгвістычных і экстралінгвістычных, аб'ектыўных і суб'ектыўных фактараў, узаважвання тых умоў, у якія перакладчыка ставіць патрабаванне адэкватнасці метрыцы арыгінала, і тых магчымасцей, якія могуць быць яму прадстаўлены айчынай сістэмай вершавання, асаблівасцямі канкрэтнага мастацкага твора і ўласнай творчай індывідуальнасці.

ЛІТАРАТУРА

- Гусоўскі М. Песня пра зубра / Пер. Я. Семяжона // Польша. 1969. № 6. С. 69–99.
 Гусоўскі М. Песня пра зубра: на лацінскай, беларускай, рускай мовах / Пер. на бел. мову Я. Семяжона. Пер. на рус. мову Я. Парэцкага і Я. Семяжона. Мн., 1980.
 Гусоўскі М. Песьня пра зубра / Пер. Ул. Шатона. Мн., 1994.
 Гусоўскі М. Песьня пра зубра / Пер. Н. Арсеньевай // Крыніца. 1997. № 7. С. 3–32.
 Гуссовский Н. Песнь о зубре / Пер. Я. Порецкого и Я. Семяжона // Нёман. 1968. № 7. С. 50–70.
 Дорошкевич В. И. Новолитинская поэзия Белоруссии и Литвы. Мн., 1979.
 Левый И. Искусство перевода. М., 1974.
 Нехай О. А., Поплавская Т. В. Сравнительная типология английского и белорусского языков. Мн., 1983.
 Рагойша В. П. Паэтычны слоўнік. Мн., 1987. Семяжон Я. Першая песня пра нас: Пасляслоўе перакладчыка // Польша. 1969. № 6. С. 99–103.
 Семяжон Я. Думкі пра вяртанне // ЛіМ. 1980. 19 снеж. С. 5.

Паступіла ў рэдакцыю 18.10.2000.

Лапцёнак Ірына Браніславаўна – аспірант кафедры тэорыі літаратуры. Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, прафесар В. П. Рагойша.

“АПОКРЫСІС” (1597) ХРЫСТАФОРА ФІЛАЛЕТА: СТЫЛЁВА-ЖАНРАВая СПЕЦЫФІКА ПАЛЕМІЧНАГА ТВОРА

В статье уделяется внимание жанрово-стилистическим и композиционным особенностям “Апокрисиса” как литературного произведения. Рассматривается традиционный средневековый характер и барочные черты полемического памфлета. В статье также определяется художественная структура, ее фольклорные элементы, особенности творческого метода автора.

In this article the attention is paid to genre-stylistic and compositional peculiarities of the “Apocrisis” as a literary work. The traditional middleaged character and baroque features of the polemical pamphlet are considered in it. The art structure, folklore elements, of the authors peculiarities are also determined.

“Апокрысіс альбо отповедь на книжны о соборе берестейском” быў выдадзены ў 1597 г. пад псеўданімам Хрыстафор Філалет. Кніга была напісана ў адказ на ананімна выдадзены “Synod Brzeski”, або “Описание и оборона събору руского берестейского”. Йохер і І. Крашэўскі – першыя з даследчыкаў, якія палічылі аўтарам “Апокрысіса” М. Смятрыцкага. Але і М. Каяловіч і І. Малышэўскі адзначалі, што стыль твора не М. Смятрыцкага. Аўтар другой гіпотэзы І. Сцябельскі адзначаў, што аўтарам быў нехта Хрыстафор Бронскі. Польскі даследчык Ю. Трэцяк лічыў, што за псеўданімам Хрыстафор Філалет стаіць вядомы дзеяч, сакратар караля Стэфана Баторыя паляк-пратэстант Марцін Бранеўскі. Але вядома, што ён памёр у 1593 г. Таму больш прызнанай з’яўляецца гіпотэза ўкраінскага даследчыка П. Яроменкі, які адзначаў, што Ю. Трэцяк памыліўся толькі ў тым, што палічыў аўтарам кнігі не таго Бранеўскага. Пакінуў след у гісторыі яшчэ адзін Марцін Бранеўскі. Менавіта яго прозвішча ў дачыненні да “Апокрысіса” называў уніяцкі публіцыст Леў Крэўза.

Некалькі гіпотэз існуе наконт аўтара перакладу “Апокрысіса” на старабеларускую мову, выдадзенага ў Астрозе ў 1598 г. Згодна з першай – аўтарам перакладу з’яўляецца Хрыстафор Філалет. Найбольш верагоднай з’яўляецца гіпотэза С. Голубева, які лічыў перакладчыкам Клірыка Астрожскага. Найбольш перакананым аргументам можна лічыць той факт, што ў старабеларускім варыянце твора ёсць рэмінісцэнцыі з памфлета аб “разбойніцкай фларэнцыйскай уніі” Клірыка Астрожскага, выдадзенага ў Астрозе літаральна праз некалькі месяцаў пасля “Апокрысіса”. Перакладчык мог быць знаёмы з творам Клірыка толькі па рукапісах, што падмацоўвае гіпотэзу С. Голубева пра аўтарства перакладу. У “Апокрысісе” раскрыўся талент Хрыстафора Філалета як сапраўднага майстра слова, высокага інтэлектуала, які добра валодае рознымі прыёмамі палемічнага дыялога.

Па жанры гэта палемічны памфлет, у якім удала спалучаны элементы розных жанраў і стыляў. Кампазіцыйна твор складаецца з “эпіграмы”, прысвячэння, прадмовы да чытача, 30 раздзелаў, аб’яднаных у 4 часткі, заключэння. Кожны элемент кампазіцыі нясе сваё канкрэтнае прызначэнне, раскрываючы асноўныя ідэі твора.

Кніга пачынаецца з “эпіграмы”, напісанай сілабічным вершам:

Почто новых вещей вѣдѣти желаете,
нову вещь, мене имѣя, презираете?
Отвѣт к римляном православных содержаще,
иже егда прежде вѣру цѣлу имяще.
И не униженны отец преданіа,
все бяху тогда желающе молчаніа.
Ныне, егда повинных во всѣх створяют,
писаніем же и властію попирают
Вѣру. И, не хотя по нужди глаголати,

Многу на клеветы вькратцѣ отвѣщати.
 Купи, читай, разъсуждай, брате и тщателю,
 повинни ли, повѣжд, се к благодателю?
 Превышному с покаяніем вьзвратятся,
 узриши ли, яко не повинни явятся?
 Желателнаго приклоненія по тебѣ
 и любовныя же помощи чают себѣ.
 Аминь.

(Філалет 1882, 1004–1006*).

“Асаблівасцю гэтага верша, – адзначаў В.М. Ператц, – з’яўляецца тое, што ў ім цэзура не супадае з канцом слоў, гэта надае яму некаторую няўключнасць” (Ператц 1900, 78). “Эпіграма” адыгрывае дыдактычна-асветніцкую ролю. Памфлет прысвечаны вядомаму дзеячу Вялікага княства Літоўскага Яну Замойскаму. Як і П. Скарга, Філалет лічыць, што яго імя абароніць кнігу ад поўнага знішчэння. Пісьменнік стварае не матэрыяльны вобраз, а сімвал, які павінен мець значэнне для прадстаўнікоў розных канфесій. Прысвячэнне канцэнтруе асноўныя ідэі аўтара.

У “Предмове до чителника” пісьменнік звяртаецца непасрэдна да чытача, раскрывае перад ім асноўныя мэты напісання “Апокрысіса” – адказаць на паклёп, “для затканья уст противником” і “оказанье невинности нашей” (Слп. 1014). “Цѣль, до которого въ той отвѣди мѣримо, тотъ нашей а выроченья стороны противной, которая ся плохо, нерозмыслне, безъ причины мимо вѣдомость всей братіи, до отданья послушенства отцу папѣжови Римскому поквапила; которую тотъ писаръ помененыхъ о сенодѣ книжокъ обмовяетъ, на насъ вину валячи, намъ старожитной релѣи Греческой людемъ упоръ, небаченье, грѣхъ противъ Богу, непослушенство противъ помазанцеви его, сѣянье межи братьею ростыркоть, згоды и милости згоженье, правды и дорогъ збавеныхъ занедбанье, сенодовъ розрыванье, непорядокъ, слѣпоту, нестатокъ, глупство, блюзненье, смѣлость и вшетечность безбожную, а згола все, што ядовитая слинка до устъ принесла, приступаючи (Слп. 1014). У прадмове Філалет знаёміць з будовай твора і спадзяецца, што чытач будзе да канца “споров наших добрым судією”. Л.А. Сафронава слухна заўважыла: “Пісьменнік не мог адразу ўпусціць чытача ў выдуманы свет, пакінуць яго адзін на адзін са складанай сімволікай ці лагічнымі пабудовамі, з часта старанна зашыфраваным паводле эстэтычных патрабаванняў ідэйным зместам. Ён не мог дазволіць чытачу паглыбіцца ў чытанне, не паставіўшы перад ім “звышзадачу”, не даўшы яму тлумачэння таго, што трэба будзе адкрыць у кнізе” (Софронова 1981, 132).

Першая частка кнігі прысвечана падзеям Берасцейскага сабора. Яна змяшчае ў сабе лісты, граматы і некаторыя іншыя сведчанні тых падзей. Абароне тых, хто выступае супраць уніі, адведзена другая частка “Апокрысіса”. Трэцяя частка цалкам закрывае асноўны дагматычны прынцып уніі – папскае адзінаўладдзе. У чацвёртым раздзеле вучоны-тэолаг разважае над пытаннем гістарычнага і юрыдычна-прававога аспектаў існавання праваслаўя. Этыкетным элементам кнігі была малітва-пасляслоўе, звычайна свабодна выкладзеная. Не адыходзіць ад гэтага прынцыпу і Філалет.

Палеміст удала нанізвае вобразы адзін на другі, ствараючы з іх цэлы ланцужок. Як слухна зазначыў акадэмік Д.С. Ліхачоў, “спалучэнне падобных параўнанняў пазбаўляе іх канкрэтнасці, не дазваляе ўвазе чытача затрымацца на іх пачуццёвым баку, сцірае ўсе відавочныя адрозненні, захоўвае

* Старабеларускі тэкст “Апокрысіса” цытуецца па выданню РИБ. Памятнікі полемиической литературы. СПб., 1882. Т. 7. Кн. 2. Слп. 1006–1608. Далей цытаты будуць падавацца па гэтым выданні ў дужках з пазначэннем слупка.

толькі самае агульнае і абстрактнае і адначасова пакідае ў чытача адчуванне значнасці таго, пра што ідзе размова, ставіць стылістычны акцэнт на тым, што сінанімічна паўтараецца" (Лихачев 1979, 115). "Нехай бог і людзі богобойныя судзя! – нехай тыя разознавают, гдѣ ся барзѣей оказует милость оная терпеливая, досады относячая и ближнему недостатки покрывающая! Нехай уважаюь, гдѣ барзѣй мает мѣсце, милость оная добротливая, складне ужитая, мощная, лютослива" (Слп. 1666).

Багата мова твора рытарычнымі пытаннямі, што звернуты як у бок чытача, так і апанента "дѣпеса". "Пытаю его що если то правда, што твердит бискуп Римскій над всего свѣта костели и бискупы зверхности уживал?.. Пытаю: чому на константинопольском и халкидонском синодѣ границы парafen суть описалы?.. Пытаю: чому до папезов римских апелация были заборонены?.." (Слп. 1454–1462). Вялікая колькасць рытарычных пытанняў, нанізаных адно на адно, робіць твор больш вострым і дазваляе адысці ад простага інфармавання. Такі прыём абуджае ў чытача жаданне думаць і разважаць над пытаннямі, пастаўленымі палемістам. "Паўтараемыя формулы і сітуацыі выкліканы патрабаваннямі літаратурнага этыкету, – падкрэслівае Д.С. Ліхачоў, – але самі па сабе не з'яўляюцца шаблонамі" (Лихачев 1979, 96).

Сустрэкаецца ў памфлеце анафара "аза" (польск. аза), якая садзейнічае стварэнню эмацыянальна-напружанай атмасферы. "Аза, мои милые визнавци, на томъ листрикійскомъ Флоренскомъ синодѣ о такихъ визнаваняхъ снилося кому зъ Грековъ" (Слп. 1332); "Аза бы зась тотъ дѣпись, на чужую скуру беспечне грѣштити и блудити позволяючий" (Слп. 1240). Такі прыём вельмі часта выкарыстоўваўся ў палеміцы, асабліва калі аўтару неабходна было спыніць увагу чытача на тым ці іншым месцы. Ім карысталіся Клірык Астрожскі, Мялецій Сматрыцкі, Лявонцій Карповіч і іншыя палемісты. Часта ад маналога Філалет пераходзіць на дыялог з аўтарам "Synodu", што таксама абвастрае палеміку: "...напередъ пытаю тя, мой милый дѣписе", "...уважай, дѣписе, слова..." (Слп. 1274) і г. д.

Пісьменнік шырока ўжывае і прыём пытанняў-адказаў: "Слышишь же ту, дѣписе? А гдѣ жь ту твои з всего Христианства до Риму апелации? А гдѣ жь тутъ оная твоя правда, же правиломъ церковнымъ тыя апелации до Риму суть обставлены? Змолимъ подобно, же то не церковные правила, которые цесари постановили? Але хтожъ ся въ томъ съ тобою згодить? Нихто! Хиба небачный" (Слп. 1496).

Філалет часта карыстаецца алегарычнымі сродкамі для абароны сваіх ідэй. Байкі і прытчы дазваляюць адысці ад сухога выкладання матэрыялу. Так, напрыклад, аўтар "Апокрысіса" расказвае прытчу пра святога айца, які паміраючы маліў пра выратаванне ўласнай душы. Яго памагатыя ніяк не маглі зразумець яго дзеянняў. Яны супакойвалі яго і гаварылі, што ў яго ёсць ключы ад царства нябеснага, якімі той зможа адкрыць царства і для сябе. На што мудры чалавек запыгаўся, якое права мае прадавец на праданы тавар, і пачуў у адказ: "Ніякае". Тады святы айцец зазначыў: "Небо другимъ продаемъ, небо собѣ стратилемъ" (Слп. 1624). Палеміст кідае ў бок сваіх ідэйных праціўнікаў, што спачатку трэба быць бязгрэшным самому, а ўжо потым дбаць пра выратаванне душы іншых.

Скрыты, патаемны сэнс можна знайсці ў байцы пра Ваўка і Лісіцу, якія разам збіраліся на паляванне. Калі ж паўстала пытанне пра падзел здабытага, Воўк адказаў: "...што будет тое, то нехай будетъ мое, а што будет мое и твое, я зымъ обое" (Слп. 1074). Філалет з іроніяй зазначае, што тое ж чакае і праваслаўных пасля прыняцця уніі. Зварот да фальклору, увядзенне ў тэкст приказак і прымавак накіраваны на выкрывццё праціўніка: "...зе злого торгу – з ушима дадому" (Слп. 1608), "...то тые не грѣшат и будут

вымовлены, которые ведлуг твоего непевного писмо, потурчаючиими бесур-манят" (Слп. 1173) і інш.

Як сапраўдны мастак слова аўтар аздоблівае памфлет афарыстычнымі выслоўямі, трапна характарызуючы ўчынкі людзей, з якімі вядзе палеміку. Часта выкарыстоўвае прыём *argumenta ad personam*. Нізкі маральны ўзровень некаторых касцельных дзеячаў выкрываецца з дапамогай іранічных выслоўяў: "...же коли у клебана хто озмёт, як у волка забрал" (Слп. 1524), "...бы был папѣж римский... в чужее жниво серпа своего не впускал" (Слп. 1548), "...барзо пыха клебанов гору вынесла" (Слп. 1524), "...не прошу того о лупину, хто ми ядерко берёт, а подобно, для одержанья ядерка, мение был ся ему з лупиною дорожил" (Слп. 1166) і г. д. Да тых, хто прыняў унію, Філалет звяртаецца: "...якож людем в очи смотрѣти смѣете" (Слп. 1178), "...присягли бы били, же уже Бога за ноги ухватили" (Слп. 1158) і інш. Прымаўкі і выслоўі дапамагаюць падкрэсліць палітычную заостранасць кнігі і ўказаць на іронію ў адрас апанентаў.

Удала спалучаючы элементы розных стыляў, пісьменнік-палеміст стварае, такім чынам, твор, зразумелы не толькі прадстаўнікам вышэйшых колаў, але і менш адукаваным людзям. "Для пісьменніка барока ўжо неда-статкова, каб яго твор чытаўся "выбранымі", – заўважае У.Г. Кароткі, – таму ён аб'ектыўна імкнецца да пашырэння камунікатыўнай сферы, кола адрасатаў, якія павінны хаця б умець чытаць кнігі і разумець іх" (Кароткі 1987, 115). Спалучэнне розных кампанентаў з'яўляецца вельмі гарманічным і не змяняе якасцей і значэння твора. Прастамоўе арганічна ўплецена ў кантэкст і часта адыгрывае ролю сінонімаў пры азначэнні пэўных асоб ці з'яў: "...жовтобрух луцкій владыка" (Слп. 1316), "...мерзеная панованья хуть" (Слп. 1500), "...папеский похлѣбца" (Слп. 1388), "...смердячая римских епископов гордость" (Слп. 1500) і г. д. Д.С. Ліхачоў зазначаў, што пісьменнік "...для вызначэння той ці іншай з'явы і ставіць побач некалькі сінонімаў, роўных адзін аднаму. У выніку ўвагу чытача прывабляюць не адценні і адрозненні ў значэннях, а тое самае агульнае, што ёсць паміж імі" (Лихачев 1979, 114).

Стыль выказвання змяняецца ў залежнасці ад адрасата. Звяртаючыся да Яна Замойскага, аўтар надае тэксту элементы высокага стылю, прасякнутыя павагай да канцлера: "Жалосная речь – терпѣти утискъ отъ выш-шого, жалоснѣйшая – отъ ровного, найжалоснѣйшая – отъ подлѣйшого" (Слп. 1800), альбо "...ужалтеся для Бога, над отчиною сполною! Уважте кондицію её инакшую миж инших королевствъ, въ которыхъ огонь внутренней войны и до того часу не есть угашеный" (Слп. 1800).

Зусім іншым становіцца стыль памфлета, калі размова ідзе з ідэалагічнымі праціўнікамі аўтара памфлета. Ён не толькі не абмяжоўваецца прастамоўем, але і ўжывае лексічныя вульгарызмы, адкрыта абражаючы апанентаў. Іронія і сарказмам напоўнена і гісторыя пра Кірылу Цярлецкага: "з меньшихъ речій snadне судити о болшихъ...", "...якая причина, якій справа, такой тежъ и skutok", "не всѣ бискупы суть бискупами" (Слп. 1758–1760). Такая інтанацыя захоўваецца і ў адносінах да каталіцкіх дзеячаў: "...дворъ Римскій не проситъ о овцу, або не маеть ся до овцы безъ волны" (Слп. 1740), "...хто щепит винницу, а зъ овоцу ён не ясть? Кто пасеть чреду, а млека ён не поживае?" (Слп. 1746), "...овца каждая христова голосу Его слухати, а отъ противного утекати мусить" (Слп. 1548) і інш. Яшчэ адна з адметнасцей стылістычнай афарбоўкі датычыцца выдання на старажытна-беларускай мове: насычанасць тэксту паланізмамі, адной з прычын чаго можна лічыць пераклад з польскай мовы ў вельмі кароткі тэрмін, альбо спецыяльнае іх ужыванне з мэтай пашырыць кола чытачоў.

Такім чынам, жанравая спецыфіка "Апокрысіса" вызначаецца перш за ўсё ўдалым спалучэннем сярэдневяковых традыцый і элементаў барока. Твор стаў адным з першых сапраўдных узораў высокаінтэлектуальнай палемічнай літаратуры.

Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого. Мн., 1987.

Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979.

Перетц В. Н. Историко-литературные исследования и материалы: В 2 т. СПб., 1900. Т. 1.

Софонова Л. А. Польские старопечатные предисловия XVI–XVII вв. (Литературные и филологические функции) // Русская старопечатная литература (XVI – первая четверть XVIII в.): Тематика и стилистика предисловий и послесловий. М., 1981. С. 131–148.

Филалет Х. Апокрисис // РИБ. Памятники полемической литературы: В 3 кн. СПб., 1882. Кн. 2. Т. 7. Слп. 1006–1516.

Паступіла ў рэдакцыю 23.10.2000.

Гуліцкая Таццяна Пятроўна – метадыст Мінскага абласнога інстытута павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кіруючых работнікаў і спецыялістаў адукацыі, саіскальнік кафедры гісторыі беларускай літаратуры. Навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры гісторыі беларускай літаратуры У. Г. Кароткі.

В. А. КАПЦЕВ

МОТИВ СУДЬБЫ В ДРАМАТУРГИИ ИННОКЕНТИЯ АННЕНСКОГО

Рассматривается роль мотива Судьбы в мировоззренческой и поэтической системе Инн. Анненского. Особое внимание уделяется смыслообразующей значимости мотива Судьбы, формам его реализации в оригинальной тетралогии и переводах трагедий Еврипида.

In this work the role of the Fate's motive outlook and political system of In. Annensky is considered. The specific attention is paid to senseformative importance of the Fate's motive and the forms of their realization in his original tetralogy and translations of the Euripides' tragedies.

Мотив Судьбы присутствует как в мировоззренческой системе Инн. Анненского, так и в индивидуальном сознании героев его пьес «Фамира-Кифаред» и «Лаодамия». Судьба является активно действующим началом внешнего мира, таинственным и неизбежным. Писателю более близка пассивная «античная» модель ее признания как Мировой Необходимости, но в своих драматических героях он реализует стремление к внутренней свободе. Каждый последующий образ тетралогии является качественно иной ступенью на едином пути обретения личностью самой себя. Для Инн. Анненского интерес представляет прежде всего не идея, а внутренний мир человека. Ему важно обозначить общность состояния души в различные эпохи. Одной из форм реализации мотива Судьбы является движение (в широком смысле).

Выделим некоторые закономерности, связанные с концептом движения в трагедиях: в женских образах преобладают статические, в мужских – динамические черты; динамика внешнего действия и внутренняя эволюция героя от трагедии к трагедии нарастает и, достигнув своей высшей точки в финальной сцене «Фамиры», возвращается к исходному – внешний круг получает завершение; образная система двух последних трагедий («Лаодамия» и «Фамира») значимо усложняется за счет появления у главного героя/героини двойника, реализующего оппозицию «мужское – женское».

Следует остановиться на некоторых частных моментах «женской» пары более подробно. Интерес представляют изменения пространственного положения героини на протяжении трагедии, причем под пространством подразумевается в первую очередь внутренний мир – «пространство души» – соотношение в нем античного и современного, а также непосредственно механизм действия внешних судьбоносных сил. В данном контексте для «женской» пары доминирующим представляется мотив ожидания вестей, от которых зависит дальнейшая участь героини. Обратим внимание на значимую здесь роль среды. Так, если местом ожидания у обеих героинь является дворец, т. е. ограниченное, замкнутое стенами пространство, то, в свою очередь, ожидаемое ассоциируется с известиями из-за пределов данного

Капцев В. А. Мотив Судьбы в драматургии Иннокентия Анненского // В. А. Капцев. Сб. соч. Мн., 1990. Вып. 4. Филология. Журналистика. Литературоведение. – 1990. – № 3. – С. 44–49.

круга. Эти известия призваны определенным образом вмешаться и повлиять на жизнь героини. Они соотносятся с таким бесконечным, разомкнутым пространством, каковым представляется «море». Таким образом, «город» и «море» символизируют человеческую душу и окружающий ее мир.

С другой стороны, «море» предстает сущностным элементом средиземноморской модели видения мира (Топоров 1995, 575–621), что также немаловажно, учитывая связь трагедий Инн. Анненского с античностью. Так, в переводах однозначно мотив Судьбы трактуется как ничем не ограниченное пространство, в котором душа отождествляется самими героями с судном, вынужденным скитаться по волнам, жребий-участь также является как состояние морской стихии – буря, шторм, штиль, шквал и т. п. Сравним также негативную трактовку образа в стихотворении «Черное море»: *«Нет! Ты не символ мятежа, / Ты – Смерти чаша пировая»* (Анненский 1990, 166).

Мотивная оппозиция «море» – «судно» – одна из наиболее регулярных для переводов в целом: «Елена» (Еврипид 1999, II, 79, 113), «Андромаха» (Еврипид 1999, I, 263), «Гекуба» (Еврипид 1999, I, 335, 375), «Финикиянки» (Еврипид 1999, II, 223), «Ипполит» (Еврипид 1999, I, 181, 188), «Ифигения в Авлиде» (Еврипид 1999, II, 462), «Гераклиды» (Еврипид 1999, I, 141), «Ифигения в Тавриде» (Еврипид 1999, I, 508), «Медея» (Еврипид 1999, I, 73, 77). Для наглядности выстроим полностью ряд в «Геракле»: 1) « – Мегара. А я невест смышляла сыновьям / (...) Красавиц благородных, / Чтоб родней / Держалось ваше счастье, как канатом / Причальным держится у берега триера...» (Еврипид 1999, I, 400); 2) « – Геракл. Ну, вперед! / Я заберу вас всех троих и буду / Большой корабль, а вы за мной как барки. / Потянетесь» (Еврипид 1999, I, 408); 3) « – Хор. Довольно бед! / Из адской тьмы холодной / Пришел наш царь природный / На вольный божий свет. / И новая жизнь покатила веселой волной / О, Будьте вы, правые боги, со мной!...» (Еврипид 1999, I, 412); 4) « – Амфитрион. ...но если / Отцовской кровью запятнан, / Все глубже, все дальше / В пучину несчастья...» (Еврипид 1999, I, 428); 5) « – Корифей. О, Зевс, к чему весь этот гнев? Зачем / В такое море слез ты гонишь сына?...» (Еврипид 1999, I, 428); 6) « – Геракл. Но точно... жаркий ветер / Пустыни... Опалил мне душу... (...) А сам-то?.. Как корабль, / Прикрученный канатами... Смотрите: / Вережкой спутаны и грудь, и руки» (Еврипид 1999, I, 429); 7) « – Тесей. Как? У друга за столом / Отведав брашен сладких, в дни невзгоды / Его корабль покинуть?...» (Еврипид 1999, I, 436); 8) « – Геракл. Меня же, отягченного злодейством, / Позорно дом сгубившего, Тесей, / Как баржу грузную, отсюда тащит...» (Еврипид 1999, I, 446).

«Море» в «женской» паре выступает в контексте сказанного реальным персонификатом Судьбы – средой, откуда является предопределенное, – и связывается у героинь с обретением или утратой мужа: Лаодамия ждет корабль, на котором уплыл Иолай, Меланиппа – явления Посейдона. Дополним, что брак Нимфы и Филаммона также осуществляется на морском берегу (Анненский 1990, 490).

В данном случае можно констатировать в очередной раз реализацию зеркального принципа трагедий: «море» дает Меланиппе мужа – морское божество, и оно же его отнимает, так как вестник приплывает на корабле. Именно появление вестника служит катализатором основного действия в обеих трагедиях и привносит в жизнь героинь разрушительное начало.

Еще одним важным моментом, восходящим к ожиданию, является присутствие в текстовом поле различных знаков Судьбы: гаданий, знамений, снов и т. п. В «Меланиппе» на первый план выходит именно толкование последних. Так, Эол возвращается от дельфийского оракула, предсказавшего ему славу через внуков. Но в дальнейшем все знаки (нахождение детей, землетрясение) приобретают однозначно негативное толкование прорица-

теля Геллена (то, что он сын Зевса, указывает на связь с Олимпом), который тем самым вынуждает Эола на решение принести детей-найденышей в жертву (Анненский 1990, 315–316). Главная же героиня поражает своей статичностью. На протяжении всей трагедии она выполняет роль философа-созерцателя, полностью погруженного в собственные мысли, и даже в критические моменты пытается влиять не действием, а словом.

Более насыщенной в плане «знаков Судьбы» и их интерпретаций нам видится пьеса «Лаодамия», в которой главная героиня также глубоко верит в различного рода знамения и предсказания. Однако ситуация неясности вестей и болезненное душевное одиночество только усиливают суеверность царицы, начинающей искать поддержку именно в знамениях Судьбы. Но последние не несут в себе сколько-нибудь положительного значения, а лишь усугубляют трагическое предчувствие. За неимением информации об Иолае из внешнего мира (из-за круга) Лаодамия всецело сосредоточивается на собственных предчувствиях, что приводит ее после встречи с тенью мужа в состояние экстатического безумия и гибели.

Инн. Анненский проводит идею неразрывности и зависимости судеб Лаодамии и Иолая. Существенную роль здесь выполняет изменение, внесенное автором в архетип сна. У Лаодамии страх и грядущие несчастья предстают не как «мужчина с ножом», но как «мужчина, надевающий на голову героине медный шлем». Данный вариант соответствует исключительно контексту трагедии (т. е. «шлем» – символ Иолая-воина, разлучивший таким образом супругов; «медный» – символ «аидовых дверей», скорой гибели обоих).

Другим определяющим знаком Судьбы является гибель птицы в море (внешнем мире) на вышиваемом героиней полотне. Причем делает это Лаодамия непреднамеренно, что является для нее своего рода предопределением внешними силами ее неизбежной участи, знаком свершившейся к данному моменту гибели Иолая: *«Зачем она упала?.. Видно, так / Ей боги присудили... Иль никто / Там, думаешь, в лазурной выси, няня, / Летать и не устанет, и земли / Далекой Африканской всем достигнуть/ Придется им?..»* (Анненский 1990, 422).

Мотив прядения, вышивания неизменно связывается в трагедии с нитью человеческой жизни: *«...Так странно – / Порвется нить, а сердце, как рабыня, / Уж новую мотает... и в один / На полотне узор свивают обе»* (Анненский 1990, 420). В финале: *«Если нить у слепой развилась, / Ей не свитья, как раньше, вовеки...»* (Анненский 1990, 473).

Помимо уже сказанного, в мотиве прядения довольно ярко представлена символика Судьбы: «нить» и «белое атласное полотно». А. Ханзен-Леве полагает: «Символы «нить» и «ткань», детально разработанные в диаволическом и мифопоэтическом символизме, связаны, с одной стороны, с космогоническим мифом «мирового полотна» (аналогичным «нитям жизни», которые плетут властители судеб, персонифицированные в образе Ананке), а с другой стороны, – с диаволической символикой опутывающей человека «паутины» или пленяющего его «лабиринта» (Ханзен-Леве 1999, 107). Таким образом, «полотно» соотносится со стремлением героини раздвинуть рамки ограничивающего города-круга и умозрительно вырваться в «большой» мир. О.М. Фрейденберг также отмечает, что древнее сознание отождествляло тканевую метафору с небом – вселенной, не имеющей границ (Фрейденберг 1997, 184).

В эстетике русского символизма мифологема паука имела крайне негативное толкование. В 1907 г. М.В. Добужинский изобразил черта как гигантского паука, надзирающего за заключенными, ходящими по кругу в тюремном дворе. Данная интерпретация образа вполне может соотноситься с «жизнью как тюрьмой» и теми inferнальными существами, которых

Инн. Анненский ощущает постоянно присутствующими по углам и под столом своей комнаты (как известно, это более всего место обитания пауков), а также пересекается с символистской трактовкой города как гигантского паука или спрута». Символика «паука» у Инн. Анненского связана с мифологемой смерти и восходит к Ф.М. Достоевскому, который «*бездну времени*» сводит «к *деревенской бане с пауками по углам*» (Анненский 1990, 28). В.Ф. Ходасевич также вспоминал, что в своих разговорах Анненский словами Свидригайлова называл смерть «*баней с пауками*» (Ходасевич 1991, 455). Ярким подтверждением данного представляется рассказ об Аиде – тени Протесилая в «Лаодамии»: «*О... / Не шевели ужасных теней... Вечно / Я с ними буду... Черви... на ногах / Людей... Как пауки, и медленны и серы / во всех углах. И серый дом... И ночь... / И ночь вокруг, как день без солнца...*» (Анненский 1990, 455). Вместе с этим возникает логическая цепочка, приводящая к толкованию финальных слов в «Фамире». Напомним: «*– Фамира. Благословенны боги, что хранят / Сознание нам и в муках. / Но паук / Забвения на прошлом... он добрее*» (Анненский 1990, 570).

Получает завершение и следующая ассоциативная цепочка: «*бабочка*» – символ внутреннего мира – души, «*мухи*» – символ окружающего обыденного мира, «*паук*» – символ материализованного метафизического Ничто, способного неминуемо поглотить в своих сетях как духовное «Я» человека, так и его материальную оболочку. В данном контексте экзистенциальный характер обретает стремление Лаодамии к вышиванию и пеленанию куклы как попытке противопоставить и защитить себя и своего мужа от Судьбы. Поэтому данный процесс, безусловно, занимает в трагедии центральное место. Так, ткацкий стан наряду со статуей Артемиды появляется в самом первом описании места действия. Если ожидание вестей связано с морем, т. е. движением извне, то прядение – внутренний акт, направленный во внешний мир, попытка изменить собственными силами заданную участь: «*Но золотом еще горит игла, / За ней узор бежит гирляндой пестрой, / И даль небес передо мной светла...*» (Анненский 1990, 420). В данном случае героиня неосознанно пытается сыграть роль Судьбы в ее наиболее значимой ипостаси.

Собственно мотив игры также является значимым во взаимоотношениях человека и судьбы: данное подразумевается в словах Гермеса, «*игрушками богов*» прямо называют себя Меланиппа и Иксион. Поэтому следующим действием обезумевшей от встречи с мертвым героини становится разыгрываемая ею мистерия по воскрешению мужа. И здесь не случайно няня сравнивает Лаодамию с ребенком, играющим в куклы, а далее – с матерью, пеленающей дитя. Все эти действия имеют глубокий символический смысл и обращены в подсознании героини к поиску защиты у материнского начала, дающего жизнь всему существу. Таким образом, Лаодамия пытается Судьбу именно переиграть. Первый раз – в процессе вышивания, второй – в попытке отождествления мужа с ребенком, т. е. словно заново ею рожденным (как и ее бог Дионис-Загрей, перманентно умирающий и вновь воскресающий к новой жизни). Сама Лаодамия также начинает нам видеться как отчасти Судьба, отчасти мать, отчасти дионисийская менада. Но очень скоро игра уступает место реальности. Появившийся Акаст первым делом (что вновь не случайно) приказывает убрать ткацкий стан – символ, связывающий тот мир и этот, реальность и мечту. На наших глазах происходит разрушение и гибель – героиня следует за мужем-ребенком в огонь.

Как мы уже отмечали, Меланиппа предстает внешне полностью статичной: не пытается физически защитить детей, до последнего оттягивает развязку. Ее сила в словах, в попытке разумного объяснения мира, в котором Судьба – не случайность, но организующее начало мироздания (аналог Мировой Гармонии). Здесь весьма показательна пассивная роль героини в плане реального действия как прядения: «*Ни арфа мне улады не давала, /*

Ни ткацкий стан с узорным полотном...» (Анненский 1990, 308). И в свою очередь, подавленный логикой дочери Эол раздраженно бросит: *«Надоедать мне пестрый твой узор / Немножко начинает... Мы не в ткацкой...»* (Анненский 1990, 327). (Обратим внимание, что греческие глаголы «плести» и «ткать» имеют переносное значение «придумывать», «сочинять»).

Лаодамия в рамках своего круга кажется динамичной, постоянно движущейся и меняющейся, но это движение полностью задано, а потому лишено целостности – внутренней цели. Она лишь неосознанно противопоставляет себя Судьбе, поступает как чувствует: *«Я не найду разумных слов, но я желать умею...»* (Анненский 1990, 441).

Но, несмотря на все различия, обеих героинь объединяет существенный момент – обе начинают действовать, когда ничего иного уже не остается. Перед нами два варианта начального влияния человека на Судьбу: первый – объяснить, второй – неосознанно изменить. В.Н. Топоров считает, что первая попытка человека повлиять на Судьбу – спросить о ней (Топоров 1994, 61).

Весьма любопытен конфликт с судьбою у Иолая. Как известно из мифа, Иолай, несмотря на предсказания, что первый ахеец, высадившийся на берег Трои, погибнет, первым соскочил с корабля и был убит Гектором. Таким образом, герой совершает личный порыв вопреки предсказаниям гадателя. Обратим внимание, что Лаодамия также отказывается от толкования сна, пытаясь избежать роковой ошибки: *«Нет, сердца дум гадателям нести я не хочу...»* (Анненский 1990, 421). На первый взгляд может показаться, что в таком случае зачатки выбора следует искать в самых глубинах мифа. Но ни о каком выборе (в экзистенциальном смысле) в данной трактовке не может быть и речи, потому что герой выбирает лишь между двумя предопределениями с моральной окраской (бесславная жизнь – славная смерть), и его – грека – моральная установка не позволяет выбрать первое (Горан 1990, 171). Иолай идет заведомо на смерть, но третьего – права личного выбора собственной судьбы – ему не дано, что и стало, на наш взгляд, одной из причин отказа Инн. Анненского от классической трактовки образа мужа Лаодамии.

В одном из своих писем к А.В. Бородине Инн. Анненский, характеризуя героев только что написанной трагедии, отмечает: *«Муж Лаодамии умер следующим образом: гадатель предсказал, что герой, который первым выйдет на Троянский берег, будет убит. Иолай, веря в свою звезду, посмеялся над гадателем и вышел первый»* (Анненский 1979, 451–452).

В данном фрагменте читается протест, как и у Лаодамии, скорее бессознательный, даже и не протест, а неповиновение. Но в своей трагедии Инн. Анненский сделал, образно выражаясь, шаг еще дальше. Сам того не ведая, он оптимально обострил конфликт личного и судьбоносного. Иолай выходит первым на берег врага, но это не слепое повиновение Року, не насмешка над гаданием и не случайный жребий, а его личный выбор в создавшейся тупиковой ситуации.

Таким образом, пересекаются несколько вариантов: Судьбы как Рока (ею предопределено, что сошедший на берег первым умрет), Судьбы как Случая (дабы выявить отдаваемого на закляние, цари метают жребий), Выбора (в едином порыве Иолай опережает всех).

Обратим внимание, что царю не предсказано первым сойти на берег, и *«жребия наш царь не вынимал»* (Анненский 1990, 430). Впервые у Инн. Анненского категория выбора выходит на первый план: человек сознательно избрал свою участь, предпочитая «глумлению» врагов героическую гибель. Иолаю Инн. Анненского нет особой нужды выбирать, он может вообще никуда не двигаться, а он стремится даже не выбирать между «тем-то» (жизнью) и «тем-то» (смертью), но осознать свое право на свободный выбор, поступать соответствуя своему желанию и собственной воле. Его выбор,

опять-таки повторимся, прежде всего личностный: обретение цельного собственного «Я» в борьбе с пожираемым страхом и сомнением «не Я».

Еще Аристотель определял наличие у действующего лица характера, если в его речи или действиях обнаруживается какое-либо направление воли (Аристотель 2000, 44). Но ни свободный сознательный выбор, ни даже своеволие действий «сверхсудьбы» не освобождают, по мнению В.П. Горана, античного героя от мысли, что любому человеку не дано избежать власти смертной судьбы (Горан 1990, 179). Герой вступает в конфликт, но этот конфликт мыслится как двойственный: объективный (Человек – Судьба) и субъективный (Я – не Я). Но разрешение конфликта первого, мнимого по своей сути, является возможным лишь при выявлении противоречий конфликта второго. Далее данная тема получит развитие в «мужской паре»: Иксион – Фамира. Так, если «женские» связаны с целым рядом внешних факторов (т. е. predetermined возможностью), то «мужские» – с его сознательным нарушением – выходом из-за круга. К тому же Иксион и Фамира изначально изгнаны и лишены дома: *«Кто путь домой укажет?.. И искать / Где буду дом... отверженный богами»* (Анненский 1990, 362). Отметим также удаленность внешних составляющих – моря, города, людей и т. п., что позволяет сосредоточиться на внутреннем движении героя, его духовной самореализации и богоборческих устремлениях.

Таким образом, трактовка мотива Судьбы в драматургии Инн. Анненского отражает противоречия между «античной» моделью понимания Судьбы как predeterminedности и стремлением показать свободного или стремящегося к внутренней свободе героя, что отвечало требованиям времени.

Автор выражает искреннюю благодарность научному руководителю доктору филологических наук, профессору Г.Л. Нефагиной за внимание и помощь в работе.

Литература

- Анненский И. Ф. Книга отражений. М., 1979.
 Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. Л., 1990.
 Аристотель. Поэтика. Риторика. СПб., 2000.
 Горан В. П. Древнегреческая мифологема судьбы. Новосибирск, 1990.
 Еврипид. Трагедии: в переводе И. Анненского: В 2 т. М., 1999.
 Топоров В. Н. Судьба и случай // Понятие судьбы в контексте разных культур. М., 1994.
 Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. М., 1995.
 Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М., 1997.
 Ханзен-Леве А. Русский символизм. СПб., 1999.
 Ходасевич В. Ф. Об Анненском // Колеблемый треножник. М., 1991.

Поступила в редакцию 05.02.2001.

Капцев Владимир Анатольевич – преподаватель русского языка и литературы в гимназии г. Борисова. Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Г.Л. Нефагина.

А.М. РУДЭНКА

МОВА ІНФАРМАЦЫЙНЫХ ТЭХНАЛОГІЙ ЯК САЦЫЯЛЬНЫ ДЫЯЛЕКТ РУСКАЙ І ЧЭШСКОЙ МОЎ

Статья посвящена сопоставительному рассмотрению способов номинации в подязыке информационных технологий в русском и чешском языках. Материал взят из популярных русских и чешских компьютерных изданий, а также из Интернета. Приведены количественные данные о способах номинации в русском и чешском подязыках информационных технологий и компьютерном жаргоне. Полученные результаты показательны для анализа номинационных тенденций в названных языках.

The article is devoted to contrastive research of nomination methods in Russian and Czech computer sciences terminology. The material is taken from Russian and Czech popular computer magazines, and from Internet. The quantitative data about nomination methods in Russian and Czech computer sciences terminology and computer dialect are given. The results of research are important to analyze the nomination tendencies in these languages.

Развіццё мовы інфармацыйных тэхналогій як сацыяльнага дыялекту дазваляе назіраць, тлумачыць і ў пэўнай ступені прагназіраваць тэндэнцыі змянення мовы ўвогуле, г. зн. сённяшні стан камп'ютэрнай падмовы – гэта люстэрка, своеасаблівая рэдукаваная мадэль моўнай дыяхраніі, прычым гэта дыяхранія разгортваецца ў рамках аднаго пакалення і можа быць прасочана вачыма назіральніка таго ж пакалення. У прыватнасці, камп'ютэрная падмова дэманструе найбольш прадуктыўныя спосабы папаўнення слоўнікавага запasu.

Чэшская мова ўжо для некалькіх пакаленняў лінгвістаў з'яўляецца хрэстаматычным прыкладам моўнага пурызму. Наколькі сапраўдная гэта характарыстыка сёння? Для адказу на гэта пытанне можна выкарыстаць дадзеныя камп'ютэрнага сацыяльнага дыялекту чэшскай мовы ў параўнанні з рускай. З існуючых у мовах свету спосабаў намінацыі – марфемная дэрывацыя, семантычная дэрывацыя, утварэнне несвабодных спалучэнняў, запазычанне – у падмове інфармацыйных тэхналогій рускай і чэшскай моў можна сустрэць усё. Выкарыстоўваюцца:

- запазычанні (рус. *утилита* 'дапаможны сродак, дадатковая праграма, магчымасць пры карыстанні камп'ютэрам', *стример* 'магнітафонная прылада, якая запісвае інфармацыю з камп'ютэра', *спам* 'гвалтоўная выдача інфармацыі без запатрабавання з боку карыстальніка (часта пра рэкламу)'; чэш. *font* 'шрыфт', *mod* 'рэжым працы аперацыйнай сістэмы', *kompatibilita* 'сумяшчальнасць' і інш.), прычым яны, як правіла, адразу падпарадкоўваюцца марфалагічным законам мовы-рэцыпіента, г. зн. скланяюцца па фармальнай адпаведнасці той ці іншай мадэлі, становяцца базай новага словаўтваральнага гнязда і г. д. Аднак магчымы і незасвоеныя запазычання, напрыклад чэш. *abgrade* 'мадэрнізацыя камп'ютэра'. Сюды ж трэба аднесці і запазычання ў новых значэннях ужо запазычаных раней слоў (рус. *винчес*

тер; чэш. *virus*) і запазычанні дэрыватаў раней запазычаных слоў (рус. *дискета, процессор*; чэш. *disketa, procesor*);

- розныя віды калек, напрыклад семантычныя – рус. *сеть*, чэш. *mys*; словаўтваральныя – рус. *маршрутизатор* (англ. *rout* 'маршрут', *router* 'маршрутизатор'), чэш. *počítač* (англ. *computer, compute*, ням. *der Rechner, rechnen*);

- розныя віды марфемнай дэрывацыі, у тым ліку і кампазіты. Распаўсюджаны афіксальныя ўтварэнні ад запазычаных каранёў: рус. *сканировать, онлайнový, (по)юзать*; чэш. *aplikační, modulační, softwarový, formátování*. Абрэвіатуры выкарыстоўваюцца пераважна без перакладу: *URL (Universal Resource Location, тэрмін Інтэрнета), BBS (Bulletin Board System, лакальная інфармацыйная сістэма, якая рэалізуецца пры дапамозе мадэмнай сувязі)*. Аналагічным чынам кампазіты часта ўключаюць іншамовныя асновы рознай ступені засвоенасці: рус. *дискковод, веб-дизайн, real-time-эффект-процессор*; чэш. *pen-based, fax-modemový, databazový, cache paměť, videopaměť*. У рускай мове нярэдка ўнікальныя ўтварэнні (*руглиш* ад *русский English* 'спосаб напісання e-mail-паведамленняў: на рускай мове лацінкай') і мадэлі (*Рунет – русский Интернет*, гл. расшырэнне расійскіх Інтэрнет-сайтаў і e-mail-адрасоў – *.ru*; *Байнет – Белорусский Интернет*, расшырэнне *.by*). У чэшкай мове аналагічныя кампазіты часцей афармляюцца як словазлучэнні – уласныя, запазычаныя, калькаваныя ці камбінацыі названых элементаў (гл. ніжэй). У рускай мове спосаб напісання запазычання, дэрывата ад іншамовнай асновы ці кампазіта сведчыць аб ступені іх засвоенасці, напрыклад, перыядычныя камп'ютэрныя выданні за апошні год паслядоўна адлюстроўваюць змяненне напісання: *web-master – web-мастер (Web-мастер) – веб-мастер – вебмастер*, а сёння нават і ўласны вышук *веб-подмастерье*. Такім жа чынам змянілася і напісанне *Internet* (нескланяльнае) – *Интернет* (скланяльнае: *в Интернет'е*) – *Интернет* (нескланяльнае) – *Интернет* (скланяльнае), а камп'ютэршчыкі-радыкалы ўжо пачалі пісаць гэта слова з маленькай літары;

- розныя віды семантычнай дэрывацыі: рус. *стравливать* (інфармацыю), *ушки* 'рэкламныя ўстаўкі на старонках Інтэрнета'; чэш. *soubor* 'група, сукупнасць' > 'файл' і інш., прычым выпадкі семантычнай дэрывацыі на ўласнай глебе досыць складана адрозніць ад семантычных калек;

- утварэнне несвабодных спалучэнняў (рус. *технология доступа*, чэш. *znakova sada* 'шрыфт, набор сімвалаў'), якія часта ўключаюць запазычаныя рознага часу, а таксама калькаваных (рус. *жесткий диск* ад англ. *hard disk*; чэш. *horke klávesy* ад англ. *hot keys*).

Якія суадносіны розных спосабаў папаўнення камп'ютэрнай лексікі чэшскай і рускай моў? Наколькі актыўна выкарыстоўваюцца рэсурсы іншых моў у фарміраванні новай лексікі? Якія суадносіны ўласных спосабаў намінацыі і розных відаў запазычанняў і калек у кожнай з разглядаемых моў?

У якасці даследуемага матэрыялу былі прыцягнуты тэксты навукова-папулярных выданняў на рускай і чэшскай мовах, а таксама дадзеныя Інтэрнета неспецыялізаваных чэшска- і рускамоўных сайтаў і "чатаў". Крытэрыем адбору зыходнага матэрыялу паслужыў менавіта прынцып арыентаванасці на максімальна шырокае кола карыстальнікаў. Матэрыялы і дадзеныя па вузкаспецыялізаваных тэкстах не разглядаліся, але ў іх можна адзначыць адну тэндэнцыю, агульную для розных моў і навуковых дыскурсаў рознай тэматыкі: чым больш спецыяльным з'яўляецца тэкст, тым больш у ім розных запазычаных элементаў.

У табліцы прыведзены дадзеныя па розных спосабах намінацыі з выкарыстаннем іншамовных элементаў у рускай і чэшскай мовах. Падлікі зроблены зыходзячы з сярэдняй колькасці слоў, утвораных тым ці іншым спосабам, на сто слоў тэксту.

Іншамоўныя элементы ў рускіх і чэшскіх камп'ютэрных тэрмінах

Спосаб намінацыі	рус.	чэш.
Абрэвіятуры (на аснове запазычанняў)	12	6
Неадаптаваныя запазычанні	1	3
Адаптаваныя запазычанні	12	6
Калькі	2	4
Устойлівыя спалучэнні (запазычаныя ці калькаваныя)	2,5	3
Дэрываты ад запазычанняў	6	6
Усяго	35,5	28

З табліцы вынікае, што руская мова больш актыўна выкарыстоўвае рэсурсы іншых моў (у першую чаргу англійскай) для фарміравання новай намінацыйнай сферы, аднак для сённяшняй чэшскай мовы пурызм таксама наўрад ці можна назваць рэальнай тэндэнцыяй: трэцяя частка лексікі тэкстаў па інфармацыйных тэхналогіях мае запазычаны характар.

Нават пры першым поглядзе на такія рускамоўныя тэксты відаць, што ў іх пераважаюць запазычанні, пераважна засвоеныя: *Информация (даўно засвоенае запазычанне) может стравливаться вашим интернет-браузером (засвоенае запазычанне) при помощи cookies (незасвоенае запазычанне) недобросовестному администратору (даўно засвоенае запазычанне) интернет-сайта (засвоенае запазычанне) или провайдера (засвоенае запазычанне). Для того чтобы подтвердить данное предположение, система (даўно засвоенае запазычанне), состоящая из файервола (засвоенае запазычанне) и логгера (засвоенае запазычанне), должна поработать некоторое время с браузером (засвоенае запазычанне)...* (Компьютерные вести 2000, 19 ноября).

У чэшскай камп'ютэрнай падмове распаўсюджана паралельнае ўжыванне запазычання і ўласна чэшскага слова (*průnikář* = *hacker* 'хакер', *slučitelnost* = *kompatibilita* 'сумяшчальнасць') ці несвабоднага спалучэння, прычым не заўсёды яно з'яўляецца калькай ці мае запазычаныя элементы (*kreslicí plocha* = *grafické pole, souřadnicový zapisovač* 'плотэр'). Напрыклад: *Se stejným problémem* (даўно засвоенае запазычанне) *se potýkali konstruktéři* (даўно засвоенае запазычанне) *minipočítačů* (інтэрнацыянальны корань + калька) *a mikropočítačů* (інтэрнацыянальны корань + калька), *když navrho vali systém* (даўно засвоенае запазычанне) *vzájemného propojení jejich mo dulů* (засвоенае запазычанне)... *na jedinou centrální dálnici* ('магістральны канал'), *sběrnici nebo li bus* ('шына') (Encyklopedie o počítačích. Praha, 1993). "З той жа праблемай сутыкнуліся канструктары міні- і мікра-камп'ютэраў, якія запрапанавалі сістэму ўзаемага спалучэння іх модуляў... пры дапамозе адзінага цэнтральнага магістральнага канала – шыны, ці *būs*".

Спосабы намінацыі, якія выкарыстоўваюцца ў камп'ютэрным жаргоне (у вузкім значэнні тэрміна), крыху іншыя, чым у падмове інфармацыйных тэхналогій як форме існавання літаратурнай мовы, прычым рускія адрозніваюцца ад чэшскіх. У рускай мове распаўсюджаны спецыфічныя ўласна рускія найменні: *мыло* 'электронная пошта, пісьмо па электроннай пошце' (< англ. *mail*), *аська* 'праграма, якая забяспечвае on-line' камунікацыю ў Інтэрнеце (< англ. *ICQ*). Тут шырэй, чым у "афіцыйным" прафесіянальным маўленні, распаўсюджаны дэрываты на базе запазычаных асноў: "Винда глюкавая все файлы покинула, комп завис, мейла грохнулась, месэги делитнулись" (падкрэсленыя словы ўтвораны ад адпаведных англійскіх *Windows, file, kill, computer, mail, message, delete*). Фактычна камп'ютэрны слэнг фарміруецца па класічных законах паджына: фанетыка і граматыка мясцовыя, а лексіка пераважна запазычаная (англійская), гл., напрыклад, вядомую фразу *Глокая куздра забэкапила комп и штеко виндрючит компенка* (Компьютерра 2000, № 26 (355), 20). Часта ў рускім камп'ютэрным жаргоне найменне (акрамя разгледжанай вышэй марфемнай дэрывацыі на базе іншамоўнага кораня) – гэта скажэнне і/ці іранічнае пераасэнсаванне:

- чужога слова па сугучнасці з уласным (*батон* 'кнопка, клавіша' < англ. *button* – *батоны жать* 'працаваць з клавіятурай'; *киберда, кибарда* 'клавіатура' < англ. *keyboard*);

- свайго слова па сугучнасці з чужым (*веник* 'вінчэстэр'; *думать* 'гуляць у Doom'; *сексельпильный* 'фанат Excel'a'; *наильник, сионист* 'праграміст, які працуе на мове C++', *клава* 'клавіатура');

- свайго слова па семантычнай блізкасці з чужым ці з прамым значэннем чужога, перанесенага ў сферу інфармацыйных тэхналогій (*бердан* 'вінчэстэр');

- свайго слова па сугучнасці са сваім жа, належачым да камп'ютэрнай сферы (*подмышка* 'дыванок пад мышку'; *ширинка* 'плата расшырэння памяці');

- свайго слова па семантычнай блізкасці са сваім жа, належачым да камп'ютэрнай сферы (*мамка* 'мацярынская плата', *топтать* 'архіваваць', 'працаваць з клавіятурай' – *клаву топтать*).

Шляхі папаўнення камп'ютэрнага слэнгу часам цалкам адмысловыя. Напрыклад, маршрутызатар называюць *киской* або *циской*, паколькі піянерам гэтага рынку была і ў значнай ступені застаецца кампанія Cisco Systems (Леонов 2000, 17). *Бирюля* 'камп'ютэрная гульня' – вынік складанай кантамінацыі фразеалагізма *играть в бирюльки* з *игра* (камп'ютэрная). Любімае слоўца *глючить* (*глючный, глюкавый* і г. д.) < *глюк* 'збой у рабоце камп'ютэра, перыферыі ці праграмага забеспячэння' < 'збой свядомасці ў наркамана'.

Цалкам свядома і з вялікім задавальненнем у камп'ютэрным асяроддзі ствараюцца народныя этымалогіі (*мудем* 'мадэм, які дрэнна працуе'), і не толькі на рускім матэрыяле (*plug and pray* 'уклучы і маліся' (аб прадукцыі дрэннай якасці) па аналогіі з *plug and play* 'уклучы і гуляй' (аб саманастройвальным праграмным забеспячэнні)).

Асабліва камп'ютэршчыкі любяць рэмінісцэнцыі – да фразеалагізмаў, любых крылатых і ўстойлівых спалучэнняў: *с миру по байту, горячие линки* (англ. *link* 'сувязь, звяно'; назвы пастаянных рубрык у газеце "Компьютерные вести"); *дареному провайдеру в канал не смотрят; из всех операций важнейшей для нас является BACKUP; послать на три кнопки* 'перазагрузіць камп'ютэр праз клавішы Ctrl-Alt-Del'. Прычым аднойчы распачатая гульня са словам (якое часта і на свет з'яўляецца дзякуючы такой гульні) радасна прымаецца і працягваецца *in mass*. У такую гульню быў уцягнуты, напрыклад, неалагізм *кликнуть* < англ. *click* 'націснуць/націск на мыш', які ініцыяраваў рад устойлівых выразаў новага пакалення: *покликать мышкой по гиперссылкам; как кликнется, так и законнектится* – і нават цэлыя гісторыі: *Хакер читает внуку сказку: "...стал он кликать золотую рыбку..."* – "Почему рыбку, дедуля?" – "Потому что мышек, внучок, тогда еще не было..." (Компьютерные вести 2000, 21–28 декабря).

Характэрна, што платформай для камп'ютэрных алюзіяў служыць не толькі агульнанародная мова, яе фразеалагічны фонд, але і наіўна-моўная карціна свету ўвогуле, архетыпныя ўяўленні, якія ўтрымліваюцца ў ёй, асобныя канцэптасферы, міфалагемы: "*Когда Винда падает, желание можно загадывать?*" – "*Можно, но исполняться глючно будет*" (Компьютерные вести 2001, 5–12 февраля).

Як кожны дыялект (тэрытарыяльны альбо сацыяльны), камп'ютэрны жаргон існуе ў бясконцай колькасці прасторавых і часавых мадыфікацый. У Санкт-Пецярбургу камп'ютэршчыкі "чатэраць" не так, як у Харкаве (гаворка ідзе пра жаргон на базе рускай мовы), і сёння не так, як паўгода (!) таму. У гэтым лёгка пераканацца, зазірнуўшы на рэгіянальныя старонкі Інтэрнета, гл., напрыклад, слэнгавае *гуля*, *гулька* 'камп'ютэрная гульня', распаўсюджанае на тэрыторыі Украіны і Беларусі і ўтворанае ад бел. *гуляць*, укр. *гуляти*

'гуляць'. Аднак пры ўсёй звычайнай для дыялекту рэгіянальнасці камп'ютэршчыкі не могуць сабе дазволіць значных мясцовых адрозненняў, паколькі сфера іх дзейнасці, асабліва пасля глабальнага распаўсюджвання Інтэрнэта, заснавана на адзінай інфармацыйнай прасторы, і гэта не проста характарыстыка, а абавязковая і найістотнейшая ўмова яе існавання. Значыць, каб разумець і быць зразумелым, быць уключаным у асяроддзе, карыстальнік гэтай сферы павінен выкарыстоўваць (і ствараць!) адзіны код. Відаць, у гэтым адна з прычын пераважання англамоўных слоў і іх дэрыватаў у рускай падмове інфармацыйных тэхналогій.

Што датычыць чэшскай мовы, то нарашчэнне пласта англійскай лексікі назіраецца тут не толькі па меры ўзрастання спецыялізаванасці тэксту: гэта характэрна і для камп'ютэрнага слэнгу і выклікана ўжо вызначаным вышэй імкненнем да выкарыстання пры Інтэрнет-камунікацыі адзінага міжнароднага кода. Без сацыялінгвістычнага эксперыменту і пры адсутнасці непасрэдных кантактаў з карыстальнікамі чэшскага камп'ютэрнага слэнгу меркаваць аб іх характарыстыках можна па дадзеных "чатаў" на чэшскіх сайтах Інтэрнэта. У камп'ютэрным слэнгу чэшскай мовы, акрамя актыўнай дэрывацыі на базе англійскіх каранёў, уласцівай і прафесійнай падмове інфармацыйных тэхналогій увогуле, вельмі распаўсюджаны прамыя запазычання з англійскай мовы рознай ступені засвоенасці (адзіная графічная сістэма гэтаму садыейнічае), аж да наяўнасці шматлікіх тэкстаў на англійскай мове. Напрыклад, на чэшскім інфармацыйным чат-серверы (<http://www.czis.cz/chat.htm>) даецца інфармацыя аб 85 Інтэрнет-старонках "чатаў", 54 з якіх на англійскай мове, адна – на англійскай і нямецкай, тры – на славацкай. На названых старонках (і чэшска-, і англамоўных) гаворка ідзе пра самыя бытавыя праблемы (часцей гэта праблемы моладзі): музыку, аўтамабілі, моды, культурныя падзеі і г. д. – і нават на чэшскамоўных сайтах шматлікасць запазычанняў, пераважна англіцызмаў, адразу кідаецца ў вочы. Дарэчы, у жывым маўленні запазычанне *komputer* усё часцей замяняе кальку *počítač*. Вось, напрыклад, анонс да аднаго з чэшскамоўных сайтаў: *Praha, informacni server, digitalni technologie, foto, scanery, video, technologie, galerie, poradna, bazar, chat, WWW odkazy, projeji*. Курсівам выдзелены запазычання, сярод якіх запазычання з англійскай мовы ці пры пасрэдніцтве англійскай мовы падкрэслены. Захавана арфаграфія арыгінала, г. зн. у чэшскіх тэкстах у Інтэрнеце, як правіла, не абазначаюцца даўгата і дыякрытычныя знакі, запазычання захоўваюць напісанне мовы-крыніцы (*chat*).

Такім чынам, у камп'ютэрным слэнгу рускай мовы пераважаюць дэрываты на базе англійскіх каранёў і розныя іранічныя пераасэнсаванні, а чэшскай мовы – прамыя запазычання.

Літаратура

- Бізяева А. Пачаткі беларускай сеціратуры // *Arche*-Скарына. 2001. № 3.
 Левкович-Маслюк Л. Стояць! // *Компьютерра*. 2000. № 26 (355).
 Майоров С. Бог Over // *Известия*. 2001. 16 янв.
 Леонов С. Форма или содержание // *Инфобизнес*. 2000. № 14 (116).
 Руденко Е. Подъязык информационных технологий как объект лингвистического исследования // *Slavia orientalis*. 2001. № 2.
 Садошенко Д. Словарь компьютерного сленга // *HomeNet*; 2:464/666.13@fidonet.
 Словарь компьютерной и сетевой терминологии компании "Формоза" // www.formoza.ru/tech_bred/dictionary.
 Словарь компьютерной и сетевой терминологии компании Cat Software // www.orc.ru/~cat-serv/glos/f_glos.htm.
 Термины и жаргон Интернет // sakura.chernovtsy.ua/guide/glossary.htm.
 Филиппович Ю. Н. Информационные технологии в зеркале метафор // *Компьютерра*. 2000. № 26 (355).

Паступіла ў рэдакцыю 23.05.2001.

Руданка Алена Мікалаеўна – доктар філалагічных навук, дацэнт кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства.

АБ СЕМАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ ДЗЕЯСЛОЎНАЙ ЛЕКСІКІ Ў СТАРАБЕЛАРУСКІМ ЮРЫДЫЧНЫМ КОДЭКСЕ “ТРЫБУНАЛ” (ВІЛЬНЯ, 1586)

Данная статья посвящена изучению семантической структуры глагольной лексики “Трибунала” (1586). Автором исследуются лексические единицы, выраженные глаголами и глагольными существительными, анализируются составные глагольные наименования, рассматриваются парадигматические отношения между лексическими единицами.

This article is devoted to the study of the verbal vocabulary of the “Tribunal” (1586). The semantic structure of the lexical units, which is investigated, is expressed by verbs and verbal nouns, the compound verbal names are analyzed and the paradigmatic relations between lexical units are considered.

Выдатным помнікам старабеларускай пісьменнасці XVI ст. з’яўляецца “Трибуналь обователемъ Великого князства Литовского” – збор заканадаўчых артыкулаў вышэйшага апеляцыйнага суда дзяржавы. Выдадзены ў 1586 г. у віленскай тыпаграфіі братаў Лукаша і Кузьмы Мамонічаў “Трыбунал” увайшоў у гісторыю як першы друкаваны твор дзелавага зместу на беларускай мове, які ўпершыню ў беларускім кнігадрукаванні быў набраны спецыяльным курсіўным шрыфтам у процівагу рэлігійным тэкстам, для набору якіх выкарыстоўваўся традыцыйны кірылаўскі шрыфт. Як дакумент дзелавага прызначэння ён быў цесна звязаны з жыццём практычна ўсіх слаёў насельніцтва дзяржавы, што паслужыла падставай збліжэння яго мовы з народна-гутарковымі фанетычнымі, марфалагічнымі і лексічнымі рысамі.

Слоўнікавы склад “Трибунала” ахоплівае 927 лексічных адзінак – намінацый самых розных рэалій і паняццяў навакольнай рэчаіснасці, якія ў залежнасці ад наяўнасці агульнай семантычнай прыметы, што з’яўляецца абавязковай для ўсіх слоў, мэтазгодна аднесці да трох груп: 1 – лексіка са значэннем прадметнасці, 2 – лексіка са значэннем прыметы, 3 – лексіка са значэннем дзеяння і працэсу.

Дадзены артыкул прысвечаны аналізу дзеяслоўнай лексікі “Трибунала”, яе семантычнай структуры і асаблівасцей функцыянавання ў тэксце. Варта адзначыць, што колькасць работ, прысвечаных вывучэнню лексікі, выражанай дзеясловамі, у беларускім мовазнаўстве абмежавана. Таму дадзены артыкул будзе спрыяць далейшаму асвятленню гэтага пытання.

Дзеяслоўная лексіка ў “Трибунале” па колькасці з’яўляецца адной з самых шматлікіх – яна налічвае каля 200 адзінак. Яе аснову складае агульнажывальная апелятыўная лексіка, якая ахоплівае самыя розныя псіхічныя, разумовыя, фізічныя дзеянні і працэсы, паказвае на іх фазіснасць, інтэнсіўнасць, паўтаральнасць. Так, канкрэтнае фізічнае дзеянне абазначаюць дзеясловы *взяти, выконати, давати, навязывати, обрати, писати, платити, ранити, тратити* і г. д. Значэнне руху і перамяшчэння ў прасторы замацавана за словамі *выйти, идти, приходити, ходити, ехать, съехатися, въехать, отъехать, приехать, розъехатися* і інш. Сярод дзеясловаў маўлення вылучаюцца такія, як *вымовляти, мовити, ознаямити, оповедати*. Паняцці разумовай і эмацыянальнай дзейнасці чалавека перадаюць дзеясловы *ведати, всхотети, згодитися, позволить, похотети, разумети, хотети*. Раскрыццю багатай дзеяслоўнай семантыкі ў значнай ступені садзейнічае “выключна прадуктыўнае прэфіксальнае словаўтварэнне, што дае магчымасць выражаць самыя разнастайныя значэнні і іх адценні шляхам прыставачнага (а таксама і суфіксальнага) пераўтварэння саміх жа дзеяслоўных асноў” (Шакун 1978, 115). У пацвярджэнне гэтаму – цэлыя словаўтваральныя гнёзды, адзначаныя ў помніку, лексічны змест кампанентаў якіх якраз і вызначаецца значэннем іх прыстаўкі: *ехати*

'ехаць' – *пріехаці* 'прыбыць' – *отъехаці* 'паехаць, пакінуць межы чаго-небудзь' – *зьеждчатися* 'сабрацца ў адно месца, з'ехацца' – *розъехатися* 'пакінуць месцазнаходжанне'; *писати* 'пісаць' – *записати* 'адзначыць пісьмова, для памяці' – *подписати* 'пацвердзіць, заверыць, паставіць подпіс'.

Удакладненне значэння дзеясловаў дасягаецца таксама праз адрозненне іх у трыванні: *обрати* 'выбраць' – *обирати* 'выбіраць'; *отослати* 'адаслаць' – *отсылати* 'адсылаць'; *позвати* 'выклікаць' – *позывати* 'выклікаць'.

Асаблівасць выкарыстання дзеяслоўных лексічных адзінак, іх функцыянальнае прызначэнне выяўляюцца ў тым, што побач з агульным значэннем яны набываюць яшчэ дадатковае, спецыяльнае, абумоўленае юрыдычным зместам помніка, у якім яны функцыянуюць. У гэтых адносінах характэрнай рысай ужытых дзеясловаў выступае іх залежнасць ад агульнага кантэксту. Напрыклад: *отправовати* 'выканаць пастанову суда'; *вызвати* 'выклікаць у суд'; *рассказати, сказати* 'загадаць, распарадзіцца'; *становитися* 'з'явіцца ў суд' і г. д. "Значэнне гэтых тэрмінаў узнікае на аснове пераасэнсавання прамога значэння слоў", – адзначае Г.В. Папова (Папова 1958, 48) і прапануе такія найменні спецыфічных для судавадзення дзеянняў і працэсаў называць "кантэкстнымі тэрмінамі". Увогуле, пераважная большасць дзеясловаў, валодаючы шырокім семантычным дыяпазомам, у "Трыбунале" звужае свой паняццёвы аб'ём да пэўнага канкрэтнага дзеяння ці працэсу, які маецца на ўвазе ў вызначанай, канкрэтнай сітуацыі: *выдати* 'зацвердзіць, абнародаваць', *допустить* 'дазволіць', *закликати* 'выклікаць', *закрывати* 'заканчваць' і інш. Гэта тлумачыцца характарам помніка, яго прыналежнасцю да афіцыйна-дзелавога стылю, аднымі з асноўных рыс якога якраз і з'яўляюцца дакладнасць і адназначнасць у словаўжыванні. Як назвы з вузкаспецыяльнай семантыкай самога кораня ў "Трыбунале" выступаюць словы *апелавати* 'апеляваць', *выволати* 'выгнаць з краіны з абвешчэннем пра гэта паўсюдна', *вотовати* 'галасаваць', *загововати* 'арыштаваць, затрымаць', *присудити* 'вынесці судовое рашэнне', *позвати* 'выклікаць у суд', *судити* 'судзіць'.

Асобную групу лексікі для намінацыі разнастайных дзеянняў і працэсаў складаюць састаўныя найменні – дзеяслоўна-іменныя словазлучэнні: *вделати отправу* 'ажыццявіць судовую пастанову'; *владывати в вину* 'падлягаць пакаранню грашовым штрафам'; *выконати отправу* 'выканаць судовую пастанову'; *вчинити отправу* 'ажыццявіць судовую пастанову'; *дати рукоемство* 'заручыцца чыёй-небудзь падтрымкай'; *дати вину* 'абвінаваціць'; *давати рады* 'раіць', *давати прэстрокги* 'перасцерагаць'; *карати горломъ* 'прыгаварыць да смяротнага пакарання'; *приправитъ о смерть* 'пакараць смерцю'; *на горло тратити* 'прыгаварыць да смяротнага пакарання'; *тратити почтивость* 'пазбавіць годнасці, страціць правы і ўласнасць'; *учинити справедливость* 'ажыццявіць правасуддзе'; *упасти въ вину* 'падлягаць пакаранню грашовым штрафам'; *учинити збытокъ* 'здзейсніць правапарушэнне'; *присегу учинити* 'присягнуць'; *сказанье чинити* 'вынесці судовое рашэнне'; *шкоду вчинити* 'нашкодзіць, нанесці страты' і інш.

Агульнай рысай прыведзеных састаўных назваў варта лічыць канструктыўную абумоўленасць семантыкі слоў, што ўваходзяць у іх склад. Сапраўды, лексічныя адзінкі *вделати, вчинити, дати, чинити* выяўляюць сваё тэрміналагічнае значэнне толькі ў пэўнай, вызначанай канструкцыі, калі яны кіруюць назоўнікамі толькі вінавальнага склону. Дзеяслоўна-іменныя найменні не падвяргаюцца семантычнай кандэнсаванні – страце фармальнага і семантычнага расчленення, як гэта назіраецца ў тэрмінах назоўніка-прыметнікавага тыпу. Гэтаму садзейнічае той факт, што дзеяслоўныя словазлучэнні сінтаксічна ўстойлівыя, іх састаўныя элементы валодаюць канструктыўна абумоўленым значэннем, што, у сваю чаргу, патрабуе наяўнасці ўсіх кампанентаў дадзенай канструкцыі. Паколькі дзеясловы ў названых словазлучэн-

нях валодаюць шырокім семантычным дыяпазомам, то іх тэматыка, тэрміналагічны характар перш за ўсё залежаць ад залежнага кампанента – назоўніка. Як адзначае В.П. Сташайцене, “...у словазлучэннях са словам *чинити* апошняе можа называцца стрыжнёвым не па сваёй асноўнай семантычнай ролі, а толькі па марфалагічнай валентнасці... І хаця цэнтр цяжару тут ляжыць на іменным кампаненце, аднак роля дзеяслоўнага кампанента тут таксама значная, асабліва ў адносінах марфалагічнай валентнасці” (Сташайцене 1973, 126).

Некаторыя дзеяслоўныя апісальныя канструкцыі помніка ў свой склад уключаюць дадатковыя атрыбутыўныя элементы, што дае больш шырокія магчымасці для характарыстыкі дзеяння ці працэсу: *выволати вечнымъ выволаньемъ, мощную отпращу вделати*. Сінанімічныя адносіны, якія сярод дзеяслоўных назваў “Трыбунала” асабліва пашыраны, праяўляюцца паміж: аднаслоўнымі дзеясловамі (*вызвати – позвати, зезволити – позволити – допустить, прибыти – стати, оповедати – обволати, поймати – заговати*); аднаслоўнымі дзеясловамі і састаўнымі дзеяслоўнымі назвамі (*присегнути – присегу учинити, отправовати – отправу вделати, шкодити – шкоду вчинити, ручити – дати ручейство*); састаўнымі дзеяслоўнымі канструкцыямі (*вделати отправу – вчинити отправу – выконати отправу, на горло тратити – горломъ карати*). Распаўсюджанню ў гэтым сінанімаў садзейнічалі розныя спосабы словаўтварэння намінацыйных сродкаў, а таксама пранікненне лексічных адзінак іншамоўнага паходжання.

Дзеясловы *вотovati, выволати, выдати, выконати, замыкати, заседати, зъехатися, назначати, обирати, обрати, одержати, отослати, отправовати, отсудити, отъехати, переховывати, позвати, привернути, припозвати, приходити, спротивитися, стати, увязати* паслужылі асновай для ўтварэння назоўнікаў на *-нье (-енье)* са значэннем адцягненага дзеяння.

Увогуле, лексічныя адзінкі, выражаныя аддзеяслоўнымі назоўнікамі на *-нье (-енье)*, якія выступаюць як асноўны словаўтваральны тып у сферы абазначэння дзеяння адцягненага, для мовы афіцыйна-дзелавых дакументаў з’яўляюцца спецыфічнымі. “Устойлівасць значэння, г. зн. менш яркая, чым у другіх імёнах дзеяння, тэндэнцыя да апрадмечвання, надае, на думку даследчыкаў, гэтай мадэлі рысы “ідэальнасці” для выражэння дзеяння, што адбываецца ў часе” (Даниленко 1977, 145). У гэту лексічную групу ўваходзіць звыш пяцідзесяці назваў адцягненага дзеяння.

Па сваёй семантычнай структуры назоўнікі аддзеяслоўнага ўтварэння вельмі блізка стаяць да зыходнага дзеяслова і здольны даволі шырока перадаваць гаму ўласцівых яму значэнняў, адлюстроўваць адрозненні ў трыванні – указваць на працягласць – непрацягласць дзеяння, яго перарывнасць – неперарывнасць, паўтаральнасць – аднакратнасць. На гэтай падставе ў “Трыбунале” можна выдзеліць “трывальных пары” назоўнікаў (тэрмін Л.В. Судавічэне (Судавічэне 1972, 68)), у якіх проціпастаўленне па выражэнню асаблівасцей дзеяння дасягаецца марфалагічнымі і марфалагічнымі сродкамі – чаргаваннем гукаў у корані слова, наяўнасцю і адсутнасцю суфіксаў: *обранье – обирание; отсужене – отсуживание*.

У словах, матываваных прыставачнымі дзеясловамі, прыстаўка, як правіла, захоўвае значэнне, замацаванае за ёй у дзеяслове. Як і дзеясловы, назоўнікі на *-нье (-енье)* таксама аб’ядноўваюцца ў словаўтваральныя гнёзды, лексемы ў якіх, утвораныя ад аднаго дзеяслоўнага кораня, адрозніваюцца наяўнасцю – адсутнасцю прыстаўкі, яе якасцю і значэннем: *воланье – обволанье; зъеханье – отъеханье – приеханье; позванье – припозванье; принесенье – знесенье; противене – спротивенье*.

Такім чынам, спецыфіка дзеяслоўных назваў, ужытых у “Трыбунале”, вызначаецца іх функцыянальным прызначэннем, у выніку чаго за імі замацоў-

ваецца спецыяльнае, абумоўленае юрыдычным зместам помніка значэнне. Як правіла, дзеясловы характарызуюцца монасемічнасцю; іх паняццёвы аб'ём зведзены да дзеяння, працэсу, якія маюцца на ўвазе толькі ў вызначанай, канкрэтнай сітуацыі. Асобную групу для абазначэння дзеяння і працэсу складаюць састаўныя найменні – дзеяслоўна-іменныя словазлучэнні, для якіх уласцівы найперш канструктыўная абумоўленасць значэння і сінтаксічная ўстойлівасць. Асноўнае прызначэнне назоўнікаў аддзяслоўнага ўтварэння на *-нне* (*-енне*) заключаецца ў абазначэнні дзеяння адцягнутага, дзеяння, працэсу, што адбываюцца ў часе. Утвораныя ад адпаведных дзеясловаў найменні захоўваюць семантычную сувязь з імі.

Літаратура

- Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. М., 1977.
 Папова Г. В. Некоторые юридические термины дзелявых помнікаў старабеларускай пісьменнасці // Даследаванні па беларускай і рускай мовах. Мн., 1958. С. 47–60.
 Сташейтене В. П. Абстрактная лексика на материале старобелорусских письменных памятников XV–XVII вв. Вильнюс, 1973.
 Судаวิชене Л. В. Отглагольные имена существительные с суффиксом (е)-нне, (е)-ние в Московском переводе-редакции Литовского Статута // Ученые записки вузов Литовской ССР. Языкознание. 1972. Т. XXIII (2). С. 49–71.
 Шакун Л. М. Словаўтварэнне. Мн., 1978.

Паступіла ў рэдакцыю 25.10.2000.

Паляшчук Наталля Вікенцьеўна – кандыдат філалагічных навук, навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа НАН Беларусі.

О.Г. ПРОКОПЧУК

КОНЦЕПЦИЯ ИНВЕРСИИ В ВИЗАНТИЙСКОЙ ТЕОРИИ ТРОПОВ И ФИГУР (ТРАКТАТ ГЕОРГИЯ ХИРОВОСКА «О ПОЭТИЧЕСКИХ ТРОПАХ» (VI в.))

Показано, что византийская система поэтики была более дифференцированной и точной в описании разновидностей одного тропа, либо фигуры. Хировоск, рассматривая три разновидности инверсии, считает принципиально важным направленность (линейную или мыслительную) инверсированного порядка слов, в отличие от современной поэтики, для которой значим только признак смежности либо несмежности инвертированных слов.

It is shown that Byzantine system of Poetics was more differential and exact in the description of varieties of one trope or figure. Considering three varieties of inversion Chiroboskos holds the direction of the inverted order of words (linear or cogitative) to be a matter of principle in contrast to the Modern Poetics for which only the indication of contiguity or incontiguity of inverted words is significant.

1. Трактат профессора Константинопольской высшей школы Георгия Хировоска «О поэтических тропах» (VI в.) (см. Spengel 1856, III, 244–256)* является ценным источником для понимания законов семантики и механизмов переносно-образного употребления языка, в содержании трактата отражены результаты осмысления византийскими филологами явления полисемии в речевой деятельности человека и особенно – в художественной речи. Трактат написан в форме толкового словаря терминов поэтики. Каждый термин толкуется в отдельной "словарной статье" (главе), которая имеет четкую структуру: а) дефиниция данного тропа / фигуры, б) разновидности тропа / фигуры (если они есть), в) примеры. Расположение терминов в трактате не представляет собой систематизированного списка: главы, посвященные тропам (фигурам переосмысления), не следуют у Хировоска по по-

* Далее при цитировании в скобках приводятся страницы по указанному изданию. Перевод трактата выполнен автором данной статьи.

рядку, их разделяют гипербатон, анастрофа и другие фигуры речи, как известно, основанные не на семантическом, а на синтаксическом преобразовании элементов речи.

Проведенный нами анализ дефиниций категорий трактата с точки зрения современной семантики и поэтики показал, что Хировоск понимал под тропами (*τρόποι*) преобразования в речи, которые основаны как на семантическом, так и на синтаксическом сдвиге в высказывании, предпринятом для усиления его изобразительности и выразительности, т. е. способы украшения речи вообще. Не все категории византийского трактата имеют точные аналоги в современной семантике и поэтике, поскольку некоторые фигуры сейчас не выделяются в самостоятельные виды, но включаются в более общие понятия. И античная, и византийская системы поэтики были более дифференцированными и более подробными в описании всего разнообразия тропов и фигур.

Предметом данной статьи является инверсия, представленная у Хировоска в трех разновидностях – гипербатон (*ὑπερβατόν*), анастрофа (*ἀναστροφή*), гистерология (*ὑστερολογία*). Категории инверсии у Хировоска будут рассмотрены по отношению к закономерностям древне- и среднегреческого синтаксиса и сопоставлены с трактовкой инверсии в современном синтаксисе и синтаксической стилистике.

2. Инверсия (лат. *inversio* – ‘перестановка’) как категория современного синтаксиса и поэтики представляет собой отклонение от обычного порядка слов в предложении, в результате чего инверсированная конструкция становится маркированной в смысловом и эмоциональном плане. Эта деструктивная макрофигура* «перекашивает» синтаксическую конструкцию в нужную говорящему сторону. Инверсированная структура выявляет новые смысловые возможности, так как новая, необычная позиция ее членов является акцентирующей, привлекающей внимание реципиента. С точки зрения современного синтаксиса и лингвистической поэтики порядок слов функционирует сразу в нескольких языковых планах: 1) синтаксической структуры, 2) актуального членения, 3) эмоциональности (экспрессивности), 4) в стилистической области (см. Адамец 1966, 10).

3. Греческий язык классического и византийского периодов, являясь языком флективного типа, имеет свободный порядок слов. В греческом синтаксисе порядок слов ориентирован «на актуальное членение в связи с преимущественно устным характером репрезентации текстов» (Славятинская 1996, 266). Традиционная постановка темы на первое место, а ремы – на второе характерна для нейтрального порядка слов. «Вынесение ремы на первое место характерно для экспрессивной устной речи, а тем более часто для древнегреческих текстов, предназначенных для устного воспроизведения и для восприятия на слух» (Славятинская 1996, 266). Экспрессивный порядок слов широко используется античными ораторами, драматургами, поэтами, поэтому категории инверсии подробно разрабатываются античными риториками, при этом многочисленные разновидности порядка слов получают статус стилистических фигур. Такие стилистические фигуры порядка слов, как гипербатон, анастрофа, гистерология (протистерон), будучи общеизвестными и расхожими в античности, не теряют своей ценности и в византийской риторике, также ориентированной на устную презентацию текстов, на церковную проповедь и эпистолярное красноречие.

4. Современные синтаксисты, рассматривая порядок слов на формально-структурном уровне и уровне актуального членения, конечно, обращают

* Макрофигуры предполагают трансформацию структуры предложений и более крупных синтаксических единиц, в отличие от микрофигур, которые предполагают трансформацию структуры слова. Конструктивные макрофигуры делают синтаксическую структуру более сбалансированной, а деструктивные – ломают синтаксические структуры (см. Ключев 1999, 238).

внимание на направленность перемещения членов предложения с «естественного» для них места в предложении на «неестественное» при инверсии. Однако для современных авторов, в отличие от античных и византийских риториков, «направленность» не играет конституирующей роли. Поэтому в современных пособиях и стилистических словарях такие фигуры, как анастрофа, гипербатон, гистерология (гистеропротерон), рассматриваются как разновидности инверсии, тогда как в античности и в византийском средневековье они рассматривались как самостоятельные категории. Например, в «Экспериментальном системном словаре стилистических терминов» в статье «Инверсия» дается подрубрика «Вид: анастрофа, гипербатон / дистантная инверсия» со следующим комментарием: «Анастрофа и гипербатон – термины античной риторики, обозначающие различные виды перестановки слов: анастрофа – это перестановка смежных слов (лат. *muros intra* вм. *intra muros*), гипербатон, или дистантная инверсия, – разъединение смежных слов, сравните: *На море синее вечерний пал туман* (А.С. Пушкин)» (Никитина, Васильева 1996, 77). Иногда указывается, что такие категории, как, например, анастрофа, вообще не следует отдельно выделять даже как разновидность инверсии. Сравните в «Риторике» Е.В. Клюева: «Анастрофа часто рассматривается как вид инверсии. Это так называемая неглубокая инверсия, отвечающая за перестановку соседних слов <...> может быть и не имеет смысла сохранять анастрофу в виде отдельной «рубрики» в составе инверсии, однако значение этого термина настолько точно, что отказываться от него тоже едва ли имеет смысл» (Клюев 1999, 252–253). Таким образом, термин «инверсия» в современном синтаксисе и поэтике употребляется для любого нарушения нормальной синтаксической последовательности слов. Вопрос же о том, каким образом происходит перестановка слов, – это частности, с точки зрения современных филологов, поэтому такие фигуры античной риторики, как гипербатон, анастрофа, гистерология, рассматриваются либо как разновидности инверсии, либо вообще опускаются.

5. Для античного и средневекового сознания была принципиально важна направленность инверсированного порядка слов. Так, Хировоск в своем трактате «О поэтических тропах» определяет анастрофу и гипербатон в зависимости от того, в пре- или постпозицию уходит инвертированное слово. Сравните его дефиниции указанных фигур: «Гипербатон (*ὑπερβατόν*) – это слово, переходящее из предшествующего в последующее, как, например, когда кто-нибудь вместо того, чтобы сказать *я взываю к Господу*, сказал бы *к Господу взываю*»; и «Анастрофа (*ἀναστροφή*) – это слово, возвращающееся из последующего в предшествующее, <...> как когда кто-нибудь вместо того, чтобы сказать *εἰς ἡμῶν ἐλθεῖν* ('к нам прийти') скажет *ἡμῶν εἰς ἐλθεῖν* ('нам к прийти' – та же структура только с постпозитивным употреблением предлога *εἰς* 'к'. – О. П.)» (С. 246). Эти значения греческих терминов мотивированы их внутренней формой: *ὑπερβατόν* < *ὑπερ-βαίνω* 'переходить', *ἀναστροφή* < *ἀνα-στρέφω* 'воз-вращать'.

Если современный экспрессивный синтаксис менее внимателен к направленности в инверсированном порядке слов, то современный структурный синтаксис, в том числе синтаксическая типология языков, считает важным учет направления развертывания глубинных синтаксических связей. Люсьен Теньер разделил языки на «центробежные» и «центростремительные» в зависимости от линейного порядка подчиняющихся и подчиненных элементов (Теньер 1988, 44). Греческий язык относится к «умеренно центростремительным»: в линейном отношении речь развертывается слева направо, вначале независимый член – потом зависимый, вначале действие – потом объект (*взываю к Господу*). Сравните у Деметрия: «Как правило, надо придерживаться естественного порядка слов: сначала называется то,

о чем идет речь, потом говорится, что это такое и т. д. по порядку» (Античные теории 1996, 250). Поэтому постановка зависимого члена перед независимым ощущалась как «неестественный» порядок слов и получила статус стилистической фигуры – гипербатона.

Особенности порядка слов при анастрофе отражают архаическое состояние греческого языка: если в прозе предлоги почти исключительно занимают позицию перед именем, то в поэзии они могли занимать позицию и после имени. В прозе анастрофе подвергались «только предлоги *περί* и наиболее часто *ἐν*» (Madvig 1853, 66).

Таким образом, формулы синтаксического преобразования как механизм действия данных фигур, по Хировоску, можно представить в табл. 1.

Таблица 1

Формулы синтаксического преобразования для гипербатона и анастрофы

Виды инверсии	Исходная синтаксическая структура	Преобразованная (инвертированная) структура
Гипербатон	$Vf\ N_2$  где N_2 – любой косвенный падеж	$N_2\ Vf$
Анастрофа	$праер\ N$  где N – любое имя	$N\ праер$

В современном же синтаксисе и поэтике в основе различия анастрофы и гипербатона лежит не «направленность» расположения инвертированных слов по отношению к их первоначальному, «естественному» порядку, а признак смежности / несмежности этих слов. Как отмечалось выше, анастрофа – это неглубокая инверсия, перестановка смежных слов: *Да что ж ты прямо как девка красная!* (*девка красная* вместо *красная девка*); а гипербатон – это глубокая, дистантная инверсия, разъединение смежных слов. Для византийца Георгия Хировоска признак смежности / несмежности инвертируемых слов не значим. И примеры анастрофы, и примеры гипербатона у Хировоска даются как перестановка смежных слов, про дистантную перестановку не говорится вообще. Важно лишь, какое из смежных слов уходит в пре- или постпозицию по отношению к соседнему слову.

6. Такая фигура размещения и перестановки, как гистерология (*ὑστερολογία* < *ὑστερος* ‘после(следующий)’ *λόγος* ‘слово, речь’), представляет собой нарушение не только «естественной» синтаксической, но и логической последовательности слов, непосредственно сочетающихся по смыслу. Это «предвосхищение в речи того, что должно быть позднее» (Ахманова 1966, 101). Следовательно, это не только синтаксическая, но и мыслительная инверсия. Эта фигура еще имеет название «гистеропротерон», что переводится с греческого как ‘более позднее-более раннее’, т. е. размещение того, что логически должно следовать позднее, на место более раннего. В главе «Гистерология» Георгий Хировоск описывает данную фигуру не как постановку «более позднего» по смыслу на место «более раннего», а, наоборот, как сдвиг «более раннего» на место «более позднего»: «Гистерология (*ὑστερολογία*) – это первое (*πρῶτος*) <по расположению> слово, которое говорится последним (*ὑστερος*), и поэтому называемое протистерон (*πρωῦστερος*); как когда мы сказали бы: *Некто прекрасно скончался и прекрасно прожил* вместо <того, чтобы сказать> *прекрасно прожил и прекрасно скончался*: ведь кто-либо сначала живет и потом умирает» (С. 255). Итак, понимание Хировоском механизма гистерологии вновь отличается от современного и вновь именно в отношении направленности перестановки членов высказывания. У Хировоска направленность зеркально-обратная (не гистеропротерон, а протистерон). С учетом того, что для данной фигуры значимым является признак темпоральности, формулу синтак-

сического преобразования для гистерологии, по Хировоску, можно представить следующим образом (табл. 2).

Таблица 2

Формула синтаксического преобразования для гистерологии

Вид инверсии	Исходная синтаксическая структура	Преобразованная (инвертированная) структура
Гистерология	$Vtemp_1 Vtemp_2$ →	$Vtemp_2 Vtemp_1$

В современной поэтике иногда противопоставляют стилистическую инверсию (анастрофа, гипербатон), ритмическую инверсию (синкопа) и композиционную инверсию («перестановка временной последовательности событий в сюжете» – т. е., по сути, гистерология) (Гаспаров 1987, 121).

7. Выводы: 1) по сравнению с современной номенклатурой синтаксических фигур византийская система поэтики была более дифференцированной и точной в описании разновидностей одного тропа, либо фигуры. Георгий Хировоск рассматривает гипербатон, анастрофу и гистерологию в отдельных словарных статьях как отдельные, самостоятельные фигуры речи, тогда как в современных риторических пособиях данные фигуры либо не выделяются вообще, либо рассматриваются как разновидности инверсии; 2) основным признаком различия категорий инверсии для Георгия Хировоска была «направленность» расположения инвертированных слов по отношению к их первоначальному, «естественному» порядку, в отличие от современной поэтики, для которой при выделении видов инверсии значимым является признак смежности / несмежности инвертированных слов*.

Автор статьи выражает благодарность ее рецензентам – заведующему кафедрой теоретического и славянского языкознания БГУ доктору филологических наук, профессору Б.Ю. Норману и заведующему кафедрой латинского языка БГМУ кандидату филологических наук, доценту А.З. Цисыку – за критические замечания и ценные советы.

Литература

- Madvig J. N. Syntax of the Greek Language, Especially of the Attic Dialect. London, 1853.
 Spengel L. (Ed.) Rhetores Graeci. Lipsiae, 1856. Vol. III. С. 244–256.
 Адамец П. Порядок слов в современном русском языке // Rozprawy czechoslovenské. Ročník 76, sešit 15. Praha, 1966.
 Античные теории языка и стиля (антология текстов). СПб., 1996.
 Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
 Гаспаров М. Л. Инверсия // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 121.
 Ключев Е. В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция). М., 1999.
 Никитина С. Е., Васильева Н. В. Экспериментальный системный толковый словарь стилистических терминов. Принципы составления и избранные словарные статьи. М., 1996.
 Падучева Е. В. Анафорическое отношение // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990. С. 32.
 Славятинская М. Н. Учебник древнегреческого языка: В 3 ч. М., 1996. Ч. 2.
 Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. М., 1988.

Поступила в редакцию 14.05.2001.

Прокопчук Ольга Генриховна – аспирант кафедры теоретического и славянского языкознания. Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Н. Б. Мечковская.

* Сравните выделение нами признака «направленности» как основного для концепции инверсии Георгия Хировоска и современные воззрения на анафору и катафору, т. е. отсылку «назад» и «вперед» по тексту (см. Падучева 1990, 32).

СВОЕОБРАЗИЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОЙ ОРФОГРАФИИ В "ЕЛЛИНОСЛОВЕНСКОЙ" ГРАММАТИКЕ "АДЕЛЬФОТИС" (ЛЬВОВ, 1591)

Статья посвящена анализу орфографии одной из старославянских грамматик — "Адельфотиса" (Львов, 1591). Наряду с общими суждениями о мировоззрении Средневековья и исторических факторах, определивших орфографические пристрастия восточнославянских грамматик XVI–XVII вв., в статье осуществлен детальный анализ орфографических принципов собственно "Адельфотиса".

The article is dedicated to the orthographical analysis of one of the Old Slavonic grammars — of the "Adelphotes" (Lvov, 1591). Parallel with the general judgements about medieval world outlook and historic factors, determining the orthographical predilections of Eastern Slavonic grammars of XVI–XVII centuries, detailed analysis of orthographical principles of "Adelphotes" proper has been carried out in the article.

1. Основные коллизии церковнославянского письма в восточнославянской культуре XVI–XVII вв. Грамматики XVI–XVII вв. традиционно состояли из четырех частей: 1) "орфографии" ('фонетика'+ 'графика'+ 'орфография'); 2) "этимологии" ('морфология'); 3) "синтаксиса"; 4) "просодии". С термином *орфография* связывают понятие о системе общепринятых и обязательных правил письма, обеспечивающих одинаковую передачу на письме слов литературного языка. В таком (современном) понимании термина раздела орфографии в грамматике "Адельфотис" нет, хотя рукописные графико-орфографические статьи на церковнославянском (далее — ц.-сл.) языке были широко распространены в XIV–XVI вв. (см. Ягич 1885–1895, 289–1070). Причем в орфографических статьях XVI–XVII вв. были как капитальные прорывы, принятые наукой нового времени (противопоставление гласных и согласных; оппозиция глухих и звонких согласных; попытки акустико-артикуляционных характеристик отдельных звуков) (см. Мечковская 1985 [а], 34–39), так и архаические черты лингвистического сознания (стремление к семантизации знаков письма; соблюдение иноязычных орфограмм; усложнение кода письма) (см. Мечковская 1985, 15–24). Языковые факты, включенные в грамматику в качестве образцов формоизменения или словообразования, приобретают значимость нормативного языкового канона в обществе. Печатное слово в эпоху Средневековья обладало не меньшим авторитетом, чем в настоящее время. Известно, что многие искусственные образцы, прежде всего в области орфографии, вошли в практику. Поскольку грамматика кодифицирует языковые нормы, представляет определенный интерес проследить, каким орфографическим принципам следуют составители грамматик "Адельфотис".

Большинство исследователей (Соболевский 1894; Лихачев 1973; Успенский 1987; Князевская, Чешко 1980) связывают истоки графико-орфографической позиции старых восточнославянских грамматик со вторым южнославянским влиянием. Высказывалась мысль и о том, что стремление архаизировать славянское письмо связано с распространением концепции "Москва — третий Рим" (Жуковская 1982 и др.). Орфографическая позиция "Адельфотиса" сохранила все основные черты понимания орфографии в ц.-сл. письменности в предыдущие столетия. В русле южнославянского влияния орфографические принципы грамматик "Адельфотис" связаны с реформой ц.-сл. письменности Евфимия Тырновского (XIV в.), с "Книгой Константина Философа и Грамматика о писменехъ" (XV в.), касающейся преимущественно вопросов графики и правописания, а также с рукописными орфографическими статьями и руководствами. Теоретические сочинения XIV–XV вв. о евфимиевской книжной реформе не сохранились, но мы можем судить о смысле этой реформы по сочинению одного из его последователей — Константина Костенческого, автора богословско-филологического трактата, во-

просы которого касаются не только чисто грамматических наблюдений, но выходят далеко за пределы грамматики в область философии и теологии. Для учения Константина Костенческого характерно обостренное внимание к внешним, формальным явлениям языка и особенностям написания, слово и сущность для него неразрывно связаны, малейшее отступление в письме, с его точки зрения, способно породить ересь: испорченность текстов есть "злова и ереси приоврътненіе" (цит. по: Ягич 1885–1895, 443).

Вместе с христианством – религией Писания – славяне переняли от византийцев отношение к письмам как первоосновам всего сущего, подчеркнутое внимание к графической стороне текста. С.С. Аверинцев определяет отношение к слову в средние века как "преклонение перед алфавитом как вместилищем неизреченных тайн" (Аверинцев 1977, 201). Константин Костенческий называет письма "божественными". Большую роль алфавит играл также в магии и мистике позднеантичного периода. Для книжных людей Средневековья характерно метафорическое уподобление знаков письма миру человека. Так, Константин Костенческий сравнивает буквы с людьми: согласные – с мужчинами, гласные – с женщинами, надстрочные знаки – с одеждами. В анонимной статье "О столпах и плотях" согласные буквы сравниваются с плотью, а гласные – с душой, и "такъ жъ ко душа невѣдома безъ тѣла, сицѣ и тѣло нечювственно безъ души" (цит. по: Ягич 1885–1895, 702). Неразличение вопросов языкового и теологического характера восходит к мифологическим представлениям о природной связи имени и вещи. Характерной чертой отношения к слову в эпоху Средневековья является неконвенциональная трактовка языкового знака: отождествление знака и обозначаемого, слова и вещи, написания и смысла.

В XV–XVI вв. сфера орфографии приобретает принципиальное значение. Если раннее написание ориентировалось на книжное произношение, то в это время писцы начинают ориентироваться на собственно орфографическую традицию, привнесенную извне и имевшую уже мало общего с живым произношением.

Известно, что уже в старославянской письменности было шесть букв, лишних для передачи произношения, которые употреблялись по традиции: ѡ, ѡ̑, ѣ, ѱ; два из трех [i] ĭ, ѣ, ѡ̑, в кирилловском алфавите было по две и больше букв для передачи одной фонемы. Употребление двух букв для обозначения одной фонемы объясняется следованием, с одной стороны, греческой традиции, а с другой – авторитетом более старых, а значит, и более верных, с точки зрения человека Средневековья, книг. Таким образом, между звуковым составом слова и его выражением на письме существовали несоответствия, поэтому основной чертой ц.-сл. письма была проблема выбора дублетной буквы. Книжные люди Средневековья видели в слове ключ к познанию тайн бытия, заключенных в священных текстах, приписывая каждой букве свое значение, свой сокровенный смысл. Замена одной буквы другой, с точки зрения книжных людей Средневековья, иногда совершенно изменяет смысл и распространяет лжеучение.

2. Гречизация церковнославянского письма в "Адельфотисе": виды орфографических заимствований. В рукописных орфографических статьях есть немало рассуждений о преемственности славянского и греческого письменного наследия, в том числе в его графико-орфографическом аспекте. Причиной ряда орфографических заимствований являются лексические заимствования из греческого языка, греческие заимствования в XVI–XVII вв. передаются с возможной графической близостью к оригиналу. Буквы ѡ̑, ѡ̑̑, ѣ, ѱ, весьма редкие вне числового значения в XIII–XIV вв., употребляются в XVI–XVII вв. в заимствованных словах в подражание греческому оригиналу. Из графических средств, использовавшихся в "Адельфотисе" для обозначения согласных звуков, внимание привлекают лишь некоторые. Поскольку

перед гласными сложилось, вероятно, под влиянием греческого письма, где есть сочетания ια, ιε, ιο, тогда как написания ηα, ηε, ηο почти не встречаются (см. Щепкин 1920, 132). Это правило, предложенное еще Константином Костенческим, не было сформулировано ни самим "Адельфотисом", ни какими-либо другими учебными пособиями. Иногда происходит смешение названных букв, нередко одно и то же слово имеет в "Адельфотисе" несколько графических вариантов, например: оубѣти и оубѣтти, ѹничи́жаю и ѹничижаю. Очевидно, авторы "Адельфотиса", стремясь следовать греческой дистрибуции этих букв, ощущали некоторую надуманность разграничения функций двух графем, обозначающих в ц.-сл. языке один и тот же звук.

Употребление графем ѡ и ѡа в "Адельфотисе" распределяется следующим образом: в середине и конце слова после мягких согласных ѡ, в начале слова и после гласных ѡа, например: имѡ, князь, ѡзыкѡ, ѡама. Однако этот принцип соблюдается не всегда, в "Адельфотисе" отмечается смешение букв ѡ и ѡа, причем ѡ вместо ѡа встречается значительно чаще: заѡцѡ, неѡсытъ, настоѡщее, ѡко и пѡтоѡ, изѡвѣстѡе.

Для обозначения звонкого зубного [z] в "Адельфотисе" обычно употребляется буква з, однако изредка эту функцию выполняет буква ѕ: княѕѡ, ѕѡѡрѡмѡ, ѕмѡй, ѕѡѡрѡтко, мнѡѕѡѡ, мнѡѕи, ѡ предѡѕѡѡ, ѡ соѡѕѡѡ, соѕидаѡтсѡ. Константин Костенческий предписывал употреблять ѕ в названиях местностей, именах личных, названиях птиц и зверей (ѕѡѡрѡѡ, ѕмѡй, ѕѡѡрѡтко); в словах княѕѡ, мнѡѕѡѡ, мнѡѕи, ѡ предѡѕѡѡ буква ѕ употреблена на месте [z], чередующегося с [g] (но: ѡ слоѕѡѡ); трудно сказать, чем вызвано использование ѕ в других случаях – вторым южнославянским влиянием или какими-то каллиграфическими соображениями составителей грамматики.

Составители грамматики в большинстве случаев придерживаются традиционного принципа написания, следуя требованиям реформы правописания Евфимия Тырновского и предписаниям Константина Костенческого (абсолютная орфографическая точность в передаче греческих заимствований, семантизация аллографов). В то же время заметна тенденция к упрощению и унификации письма, которая проявилась в отказе от некоторых проявлений архаического понимания письма. В "Адельфотисе" сохранились лишь отдельные черты семантизации аллографов (непоследовательное употребление ѡ во флексиях Р. п. и Д. п. мн. ч.; сохранение написания греческих заимствований как можно ближе к оригиналу; употребление титлов).

Хотя в "Адельфотисе" нет сформулированных орфографических правил, авторы грамматики придерживались определенных принципов в употреблении ц.-сл. языка и тем самым способствовали становлению и закреплению его графико-орфографических норм.

5. Влияние живого народного языка на церковнославянское письмо "Адельфотиса". Язык славянской части грамматики "Адельфотис" преимущественно ц.-сл. Ее авторы явно старались не отступать от образцовых ц.-сл. текстов, хотя это им не всегда удавалось: в "Адельфотисе" нашли отражение орфографические черты, сложившиеся под влиянием народного (в ц.-сл. части) и среднегреческого языков (в греческой части), основанные на фонетическом принципе написания: 1) передача депалатализованного [ɣ]: ворѹсѡ, творѹ, орѹ, зрѹ и др.; 2) совпадение ы и и в одном звуке: четыри – четыры; нарицаѹтсѡ – нарыцаѹтсѡ; мжжескихѹ – мжжескыхѹ; крило – крыло; 3) переход ѡ в и: видахѹ – оувѡдаю; 4) отражение на письме аканья (непоследовательно): склонѣнѣ и скланѣнѣ; рождѹ, но раждахѹ; 5) пропуск непронизносимых согласных: сладоснѣйшѣй; 6) отображение диссимиляции по месту артикуляции: книгопишѹцѡв,) написание удвоенных согласных (непоследовательно): оѡблечѣннѡ – оѡблечѣнѡ; осѹществѣннѡго – осѹществѣнѡго; ѡ молитѣннѡм – ѡ молитѣнѡм; 8) в греческой части замена этимологической η,

которая в среднегреческом языке обозначала фонему [i], на ι: κατηγορίαν вместо κατηγορίαν, περὺλικά вместо περὺλῆκα, κτιτικόν вместо κτητικόν, ἴστιμι вместо ἴστημι.

6. Язык церковнославянских параллелей греческих примеров и метаязык "Адельфотиса" с точки зрения орфографии памятника. В грамматике "Адельфотиса" есть две орфографические нормы: одна для языка ц.-сл. параллелей греческих примеров, другая – для метаязыка. В восточнославянских грамматиках XVI–XVII вв. в качестве метаязыка также был принят в основном ц.-сл. язык, однако выборочные количественные данные показали, что в тексте метаязыковых высказываний составители грамматики менее последовательны в соблюдении орфографических норм, чем в примерах и парадигмах. По всей вероятности, это связано с тем, что, поскольку основную часть грамматики составляли систематизированные факты языка-объекта, метаязыковые высказывания (дефиниции, толкования, пояснения) играли менее важную роль, а потому привлекали меньшее внимание переводчиков и находились под меньшим контролем их языкового сознания.

Отсутствие общепринятых орфографических норм способствовало проникновению в ц.-сл. язык "Адельфотиса" форм живого народного языка, несмотря на это, а также на некоторый разнобой в употреблении ц.-сл. слов, можно говорить о совокупности орфографических норм "Адельфотиса" именно как об орфографической системе.

Автор статьи выражает благодарность ее рецензенту доктору филологических наук, доценту кафедры теоретического и славянского языкознания Елене Николаевне Руденко за ценные критические замечания и советы.

Литература

- Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1977.
 Булыка А. М. Развіццё арфаграфічнай сістэмы старабеларускай мовы. Мн., 1970.
 Жуковская Л. П. К вопросу о южнославянском влиянии на русскую письменность // История русского языка: исследования и тексты. М., 1982. С. 50–287.
 Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография. М., 1979.
 Князевская О. А., Чешко Е. В. Рукописи митрополита Киприана и отражение в них орфографической нормы Ефимия Тырновского // Ученики и последователи на Евтимий Тырновски. София, 1980. С. 280–295.
 Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X–XVII вв. Л., 1973.
 Мечковская Н. Б. Архаическое и новое в лингвистическом сознании одной эпохи (к характеристике восточнославянских грамматик XVI–XVII вв.) // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 710. Исследования по истории славянского языкознания. Slavica Tartuensia I, 1985. С. 15–24.
 Мечковская Н. Б. Фонетические знания в восточнославянской традиции XVI–XVII веков // Веснік БДУ. Сер. 4. 1985 [а]. № 3. С. 34–39.
 Соболевский А. И. Южнославянское влияние на русскую письменность в XIV–XV вв. СПб., 1894.
 Успенский Б. А. История русского литературного языка (XVI–XVII вв.) // Sagner's Slavistische Sammlung. München, 1987. Bd. 12.
 Успенский Б. А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.
 Щепкин В. Н. Славянская палеография. М., 1920.
 Ягич И. В. Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке // Исследования по русскому языку: В 2 т. СПб., 1885–1895. Т. 1. С. 289–1070.

Поступила в редакцию 22.05.2001

Зарембо Ольга Сергеевна – преподаватель кафедры классической филологии, соискатель кафедры теоретического и славянского языкознания. Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор Н. Б. Мечковская.

КОНЦЕПТ «ВРЕМЯ» КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)

В статье обосновывается мотивационная связь модального значения долженствования с представлениями о времени и пространстве. Данное обоснование проводится путем анализа внутренней формы лексем, семантической структуре которых свойствен интегральный признак темпоральности. Результаты исследования являются отражением тесной связи между закономерностями человеческого мышления и особенностями его отражения в языковых категориях.

The subject of the article is the study of the connection of modal meaning of 'necessity' with ideas about time and space. The given substantiation is done by analyzing lexem inner form, the semantic structure of which is characterized by the integral sign of temporality. This theme is related with the regularities of the human thought and the peculiarities of its reflection in language categories. The work is done on the base of East Slavic words.

Неотъемлемой характеристикой естественного человеческого языка является функционально-семантическая категория модальности, выражающая разные виды отношения к действительности, а также разные виды субъективной оценки сообщаемого. Категория модальности представляет собой языковую универсалию; она принадлежит к числу основных категорий, в разных формах обнаруживающихся в языках разных систем. К сфере модальной семантики относятся значения, отражающие возможность, желательность, долженствование, необходимость, вынужденность, готовность, — т. е. значения, отражающие отношение содержания высказывания к действительности. Таким образом, модальность относится к так называемым понятийным категориям и является одной из сфер проявления субъективного начала в языке.

Актуальным в лингвистике является системное исследование коммуникативных и прагматических аспектов модальной семантики. Функционирование же лексических единиц любых типов всегда тесно связано и обусловлено особенностями их происхождения, внутренней формой. Достаточно распространенным является представление о внутренней форме как об образе, который лег в основу наименования (см. Кияк 1987, 58). Внутренняя форма производного слова отражает характер связи звукового состава слова и его первоначального значения. Внутренняя форма производной лексической единицы определяется семантической и структурной соотносительностью составляющих слово морфем с другими морфемами данного языка. В наиболее общем виде внутренняя форма рассматривается как «способ мотивировки значения в слове» (Будагов 1979, 43).

В области лексической семантики традиционно выделяются семасиологический и ономазиологический принципы изучения смысловой структуры слова. Изучение тех или иных языковых явлений в ономазиологическом плане означает, что в качестве исходного принимается обозначаемая реальность (предмет, явление, качество и т. п.), получающая то или иное имя и значение.

Как известно, формирование значений в истории языка определяется типологией семантического развития. Диахроническая динамика модальных значений также обнаруживает определенные закономерности. Системных исследований, посвященных закономерностям формирования указанного типа значений в славянских языках, нам неизвестно. Выявление истоков формирования модальных значений в ономазиологическом аспекте представляется актуальным прежде всего в силу тесной связи между закономерностями человеческого мышления и особенностями его отражения в языковых категориях. Предметом настоящей статьи является рассмотрение мотивационной связи модального значения долженствования, необходимости с представлениями о времени и пространстве в восточнославянских

языках. Развитие значения долженствования на основе понятия «время» является одной из закономерностей формирования указанного типа модальной семантики в восточнославянских языках. В настоящей работе мы приводим материал других славянских языков, который подтверждает отмеченную закономерность. Пространство и время как коренные свойства движущейся материи неотделимы друг от друга. Все материальные объекты внешнего мира движутся не иначе как в пространстве и времени. Пространство характеризует взаимное расположение, протяженность, объем, величину, форму тел окружающего мира. Понятие времени отражает последовательность, длительность, темпы развития объектов. Таким образом, если пространство характеризует устойчивость, стабильность в существовании объектов, то время – их изменимость, текучесть.

По замечанию Н.Н. Трубникова, «знак места» и «знак времени» – оба этих знака лежат в самом основании человеческих идей (Трубников 1987, 25). Неразрывная связь времени и пространства находит свое отражение в языке. Известно, например, что темпоральная ориентация может описываться при помощи показателей пространственной ориентации, так что событийная упорядоченность представлена в языке по аналогии с пространственными отношениями, ср.: *перед домом* и *перед Новым годом*.

Идея движения по кругу (т. е. изначально перемещения в пространстве) отражена в этимологии рус. *время* (и.-е. **uertmen*), по происхождению связанного с *вертеть*, *воротить* (ср.: Фасмер, 1, 361; Преобр., 1, 101: «первоначальное значение 'вращение, коловращение'»). С древнейших времен в сознании человека существует представление о времени как последовательности однотипных событий, «жизненных кругов». Древние цивилизации воспринимали время как повторяющийся цикл, в котором особой ценностью обладало прошлое, хранящее необходимые для жизни навыки и знания. Представление о времени соотносится с объективно наблюдаемой сменой различных «состояний мира», однако концепт времени связан с переживающим время субъектом, с его оценкой, с его «ощущением времени». С одной стороны, время, как таковое, не дано нам в непосредственном наблюдении, это неуловимая сущность, ср.: *Время за нами, время перед нами, а при нас его нет* (Даль, 1, 260). С другой стороны, время может оставлять чувственно воспринимаемые «следы» (что обычно расценивают как нечто нежелательное) или демонстрировать свои «приметы». Власть времени рассматривается как закон, с которым приходится считаться, ср.: *Не человек гонит, а время* (Даль, 1, 261). Указанные особенности восприятия времени способствуют развитию модальной семы долженствования, необходимости, которая чаще реализуется в сочетании с инфинитивом: *время идет*, *шутить не время*.

Русскому слову *время* в белорусском и украинском языках соответствует лексема *час*, которая в сочетании с инфинитивом также реализует значение с модальным оттенком долженствования 'наступила пора, подходящий момент', ср.: бел. *час класціся спаць*.

Семантика слова *пора* также отражает связь модального значения долженствования с представлениями о времени, ср.: рус. *пора* 'время, благоприятное время, срок' и 'пришло время, настал срок, по времени или по обстоятельствам' (Даль, 3, 310); бел. *пара* 'время, период', 'часть суток' и 'настало время для чего-либо' (ТСБМ, 4, 35); укр. *пора* 'время, пора', 'возраст' и 'благоприятное время, подходящий момент' (Гринч., 3, 341). Семантика соответствий в других славянских языках и производных, распространенных в диалектах, сохраняет связь с исходным значением времени: болг. *пора* 'возраст', польск. *pora* 'случай, пора' (Фасмер, 3, 328), рус. диал. *пораться* 'спешить, заниматься', *пористый* 'то, что пришло к стати, впору, вовремя', *порный* 'дошлый, возмужалый, взрослый, во всех годах; зрелый, поспелый и готовый, во всей поре' (Даль, 3, 310), *порацца* 'управляться, оканчивать

ежедневные домашние работы' (Расторгуев, 212), бел. диал. *порацька* 'медлительный человек' (Нар. сл., 141), укр. *поратися* 'заниматься по хозяйству, стряпать, возиться' (Гринч., 3, 342).

В праславянском **pora* значение времени по происхождению также связано с пространственными представлениями. Этимологи предполагают родство данного имени с глаголом **perti* (Фасмер, 3, 328; Преобр., 2, 106) и, далее, со служебным словом **per-*, основное значение которого – 'движение сквозь, через, сверх', отсюда 'переход от одного места к другому', 'продолжение действия', 'действие снова' (Преобр., 2, 39), ср. значения приставки в словах *переселиться*, *переделать* и т. п.

Праславянское **perti* сравнивают с лит. *spirti* 'подпирать', 'теснить, нажимать', лат. *sperno* 'отталкивать', др.-инд. *sphurati* 'отталкивает (ногой)', устремляется, вздрагивает', авест. *sparaiti* 'попирает, толкает', др.-исл. *sporna* 'лягать' (Фасмер, 3, 240–241), т. е. исходное значение обнаруживает связь с семантикой движения, перемещения в пространстве, связанного с преодолением препятствия. Слово *пора* обладает особой временной семантикой, ср.: *Придет время, будет и пора / То было время, а ныне пора / Не время дорого, пора* (Даль, 1, 261). Как известно, семантика слова обуславливает его сочетаемостные возможности. По наблюдениям Е.С. Яковлевой, *пора* описывает не просто периодическое повторение событий, но подчеркивает связь этих событий с космологическим циклом, ср.: *Настала пора отпусков / уборочная пора*, но не **пора заседаний Верховного Совета*, **пора командировок*, поскольку «описываемые события не вписываются в космологический ряд» (Яковлева 1991, 45).

Прообразом человеческой (социальной) поры (*пора любви, пора становления личности*) является пора природная (*весенняя, летняя, осенняя*). В смене времен года представлен извечный «сценарий»: рождение, становление, расцвет, увядание и снова рождение и т. д. «Пора» воспринимается как нечто объективное, закономерное, не зависящее от человеческих эмоций. Семантика слова *пора* предполагает обязательную смену этапов. За одной порой всегда идет другая: конец одного цикла, этапа уже содержит идею нового начала, его ожидание. Эти представления лежат в основе развития семантики долженствования:

Мы вольные птицы; *пора*, брат, *пора*!

Во внутренней форме слова *долг* (рус. *долг* 'обязанность', 'взятое взаймы', бел. *доўг*, укр. *довг*) также проявляется связь с пространственно-временными представлениями. Этимологи связывают праславянское имя **dylgъ* с прилагательным **dylgъ* 'длинный, долгий'; таким образом, предполагается, что в понятие долга включалось представление о сроке. Интонационные различия между обоими славянскими словами (ср. сербохорв. *дуг* 'долг', но *дуг* 'долгий, длинный'), приводимые как контраргументы (см. Фасмер, 1, 524), объяснимы как показатель словопроизводных отношений на ранней стадии формального тождества имени и древнего прилагательного (ЭССЯ, 5, 180). А.Г. Преображенский также указывает на то, что *долг* и *долгий* 'longus' – одно и то же слово: долг – то, чего ждут, выдерживают, терпят; ср.: лат. *indulgeo* 'быть снисходительным' (первоначально: 'быть великодушным, долготерпеливым к чему-либо') (Преобр., 1, 188–189).

В семантике южнославянских и западнославянских соответствий связь с исходным признаком, легшим в основу наименования, также утрачена: болг. *дълг*, макед. *долг*, чеш. *dluh*, словац. *dľh*, польск. *dlug* 'долг, обязанность'; болг. *длъжен* 'должный, обязанный', макед. *должен*, сербохорв. *дужан* 'тот, кто должен', 'причитающийся', словен. *dolžen* 'должный, причитающийся', 'должный, обязательный' и др. (ЭССЯ, 5, 179, 181). Указанная особенность свидетельствует о том, что значение долженствования сформировалось на древнейшем хронологическом срезе развития языка. Вероятно, в основе исходного значения слова *долг* лежит семантическая аналогия: протяжен-

ность, длительность пространственная и временная – постоянство, непреходящий характер моральной нормы, долга.

Понятие долга, необходимости обнаруживают ассоциативную связь с понятиями времени и пространства постольку, поскольку они характеризуются общностью восприятия. Время и пространство существуют здесь и везде, сейчас и всегда, объективно, независимо от чьего-либо сознания. Моральные нормы также мыслятся как существующие изначально, они вечны, непреходящи. Долг рассматривается как аналог логической необходимости, выраженной в нравственных требованиях, ср.: *Не все должно, что можно* (Даль, 1, 461). Долгу человек *повинуется*, голос долга воспринимается как высшая инстанция, определяющая линию поведения человека. Велению долга подчиняются из внутренних побуждений, не преследуя какой-либо цели. Долгом нельзя кого-либо *обременить*, его нельзя *принять на себя*, как обязательства. Долг можно в какой-то момент *осознать*, можно *счесть* что-то своим долгом, но это предполагает, что долг существовал и ранее, хотя и не осознавался. Долг просто не может отсутствовать. Можно отрицать наличие конкретной обязанности, но относительно долга можно утверждать только, что он состоит не в этом, а в чем-то другом.

Значение долженствования, необходимости в словах *надо*, *надобно* и других производных от *доба* по происхождению также связано с представлениями о времени. Слово *доба* с основным значением 'время, пора' сохранилось в современном украинском языке (*доба* 'сутки', 'пора, время', 'эпоха' – СУМ, 2, 316), ср.: рус. диал. *доба* 'время, возраст', 'мера', *даба* 'время' (СРНГ, 8, 73), ст.-бел. *доба* 'положение' (Насовіч, 134).

В южнославянских и западнославянских языках праславянское **doba* обнаруживает продолжения, также имеющие значение 'время': болг. *доба* 'пора (обыкновенно ночная)', 'время, пора, случай', макед. *доба* 'пора, время', 'возраст', словен. *doba* 'пора, подходящее время, срок', 'возраст', в.-луж. *doba* 'пора, время, момент', н.-луж. *doba* 'удобное время, момент', 'мера, степень', польск. *doba* 'сутки', 'пора, время, эпоха' (ЭССЯ, 5, 38).

Исторически слово *надо* восходит к *надобь*, которое представляет собой сочетание существительного с предлогом *на*, употребляющимся при обозначении как пространственных, так и временных отношений: *на добе*, т. е. 'вовремя, когда есть необходимость'. На основе исходной семантики времени развивается модальное значение 'нужно, должно, следует, необходимо' и другие, более конкретные значения, в которых в той или иной степени прослеживается модальный оттенок долженствования, необходимости: рус. диал. *надобье* 'лекарство', *надобник* 'нужный человек' (Даль, 2, 404), *надоба* 'девушка, которая долго не может выйти замуж; раньше родители возили таких девушек по селам, предлагая в жены' (СРГСУ, 2, 164), укр. *надібок* 'кусок дерева или железа, годный в дело' (Гринч., 2, 482), бел. диал. *надоб'е* 'гости', польск. *nadobek* 'любая пустая посуда (горшок, бутылка)', чеш. *nadoba* 'пустая емкость, сосуд', 'посуда', *nadobi* 'домашние вещи, необходимые в хозяйстве', в.-луж. *nadoba* 'доход, богатство' (ЭСБМ, 7, 198).

Семантика вынужденности, необходимости в слове *мус* 'необходимость, обязательность, принуждение' и производных, сохранившихся в белорусском и украинском языках (ср.: бел. *мусіць* 'подвергаться принуждению, быть обязанным сделать что-либо' – ТСБМ, 3, 183; укр. *мусити* 'долженствовать, быть должным, вынужденным' – Гринч., 2, 456), также обнаруживает мотивационную связь с семантикой времени. Производящее *мус* является заимствованием из польского (ср.: ст.-польск. *mus* 'необходимость, принуждение') и, далее, из немецкого языка, ср.: д.-в.-нем. *muozan* 'свободное время; иметь возможность' (ЭСБМ, 7, 101).

В группе восточнославянских лексем, во внутренней форме которых отражается мотивационная связь модального значения долженствования с семантикой времени, выделяются слова с праславянским корнем **god-*. В

отличие от рассмотренных выше слов, для которых модальные значения являются вторичными, развившимися на основе исходной семантики времени, для праславянского глагола **goditi(se)* и его производных исторически первичной является модальная семантика 'подходить, соответствовать'. Ср. соответствия в восточнославянских языках: др.-рус. *годити* 'угождать', *годитися* 'быть довольным', 'случиться', 'годиться, быть достойным', безл. 'годится, следует' (Срезн., 1, 535), рус. диал. *годить* 'угождать кому-либо', 'создавать благоприятные условия для кого-, чего-либо', *годиться* 'пригодиться, понадобится' (СРНГ, 6, 269), бел. *гадзіць*, укр. *годити* 'угождать'.

Праславянское **goditi* этимологи считают родственным латыш. *gadīt* 'падать, приобретать, находить', д.-в.-нем. **ergetzen* 'радовать, убажывать', ср.-в.-нем. *gaden* 'подходить, нравиться' (ЭССЯ, 6, 190).

Отглагольное существительное **godь*, отражающее различные временные значения, семантически первоначально – не столько 'время вообще' (ср.: др.-рус. *годъ* 'время (неопределенное)', 'срок', 'год', 'возраст'; рус. *год*, бел. *год*, укр. *гiд* 'год'), сколько 'случай, повод, подходящее время', что соответствует производящей семантике **goditi*, ср.: сербохорв. *год* 'подходящее время', словен. *god* 'подходящее время, момент', *po godu biti* 'быть приятным, желанным', н.-луж. стар. *god* 'случай, повод' (ЭССЯ, 6, 191), а также рус. диал. *год* 'благоприятный для чего-либо отрезок времени, хорошее время' (СРНГ, 6, 267). Ср. соответствия производящего: болг. *годя* 'готовить', 'искать случай', макед. *годи* 'договориться', 'угадать', чеш. *hoditi se* 'подходить, соответствовать' и мн. др. (ЭССЯ, 6, 188–190). Таким образом, в данном случае можно говорить об обратном семантическом переходе: модальное значение соответствия, пригодности > значение времени.

Производное от **godь* наречие **gode* обнаруживает модальное значение долженствования, необходимости, отражающее, вероятно, не столько исходное этимологическое значение, сколько промежуточную семантику времени, свойственную производящему имени: рус. диал. *годе* 'довольно, полно, хватит', 'нет, нельзя', 'не трогай, перестань', 'погоди, подожди', 'поделом, так и надо' (СРНГ, 6, 267), бел. *годзе* 'достаточно, хватит' (ТСБМ, 1, 450), укр. *годі* 'полно, довольно, баста', 'нельзя, невозможно' (Гринч., 1, 298).

Таким образом, можно говорить о тесной связи (и в некоторых случаях взаимопереходе) модального значения долженствования с семантикой времени с диахронической точки зрения. Ассоциативная связь этих значений обусловлена общностью восприятия, осмысления времени и нравственной категории долга, которые мыслятся как объективно существующие, вечные, непреходящие. Представлениям о нравственных нормах, реконструируемым в процессе выявления внутренней формы рассмотренных слов, как нельзя лучше соответствует замечание И. Канта: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благоговением тем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, – звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Сокращения

- Гринч. – Гринченко Б.Д. Словарь украинского языка: В 4 т. Киев, 1958. Т. 1–2; Киев, 1959.
Т. 3.
Даль – Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1989–1990.
Т. 1–3.
Нар. сл. – Народные слова / Под ред. А.Я. Баханькова. Мн., 1976.
Насовіч – Насовіч І.І. Слоўнік беларускай мовы. Мн., 1983.
Преобр. – Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка: В 2 т. М., 1959.
Расторгуев – Расторгуев П.А. Словарь народных говоров Западной Брянщины. Мн., 1973.
СРГСУ – Словарь русских говоров Среднего Урала / Под ред. Н.П. Костиной. Свердловск, 1971. Т. 2.
Срезн. – Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка: В 3 т. М., 1989. Т. 1.
СРНГ – Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина. Л., 1970. Вып. 6; Л., 1972. Вып. 8.
СУМ – Словник української мови. Киев, 1971. Т. 2.

- ТСБМ – Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. Мн., 1977. Т. 1; Мн., 1979–1980. Т. 3–4.
 Фасмер – Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1967. Т. 1; М., 1971. Т. 2.
 ЭСБМ – Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / Пад рэд. В.У. Мартынава. Мн., 1991. Т. 7.
 ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О.Н. Трубачева. М., 1978–1979. Вып. 5–6.

Літаратура

- Будагов Р.А. Внутренняя форма слова // Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ф.П. Филина. М., 1979. С. 43–46.
 Кияк Т.Р. О внутренней форме лексических единиц // Вопросы языкознания. 1987. № 3. С. 58–68.
 Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. М., 1987.
 Яковлева Е.С. *Время и пора* в оппозиции линейного и циклического времени // Логический анализ языка. Культурные концепты. М., 1991. С. 45–51.

Поступила в редакцию 27.02.2001.

Мельникова Ольга Николаевна – аспирант кафедры русского, общего и славянского языкознания Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины. Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Е.И. Тимошенко.

В.І. ГУШЧАВА

АБ СЕАНТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ І ВАЛЕНТНАСЦІ ЛЕКСЕМЫ РАМІЁЎ У ПОЛЬСКАЙ МОВЕ

Статья посвящена анализу семантики лексемы *ramię* в польском языке. Лексема *ramię* выходит за рамки обозначения только одного из психологических процессов. Семантический анализ лексемы *ramię* позволяет заметить, что в языке фиксируется связь памяти с другими составляющими психологической жизни человека (ментальными процессами и эмоциями). Лексема *ramię* переносится на обозначение межличностных отношений и социально значимых явлений, событий, норм поведения, моральных ценностей. Различные процессы и операции, связанные с работой памяти, обозначаются, как правило, не посредством отдельных лексем, а посредством устойчивых словосочетаний.

The article is devoted to the analysis of semantics of the lexem *ramię* in Polish language. Lexem *ramię* exceeds the limits of nomination of separate psychological process. Semantic analysis of the lexem lets us note that connection of memory with other phenomenal of psychological life of a human (mental processes and emotions) is fixed in a language. The lexem *ramię* is transferred to the nomination of human relations, important social events, moral values, norms of behaviour. Different processes and operations, which are connected with a memory functioning are regularly nominated not by separate lexems but by idioms.

Структура лексемы *ramię* у розных еўрапейскіх мовах падобная: дадзеная лексема можа выступаць у значэннях як звязаных з працэсамі памяці, так і непасрэдна з дадзенымі працэсамі не звязанымі, якія належаць, напрыклад, да групы лексем са значэннем 'турбота, апека': гоцк. *maurnan*, ст.-англ. *muarnan*, грэч. *μέμνηρα*; разумовай дзейнасці: ст.-літ. *mintis* 'думка, меркаванне', ст.-інд. *matīs* 'думка, намер, меркаванне', авест. *maiti* 'думка, меркаванне', лац. *mens* 'розум, роздум' (A Dictionary 1949).

Пры апісанні семантыкі лексемы *ramię* мы карысталіся не толькі матэрыялам сучаснай польскай мовы, але і пластом састарэлай лексікі, зафіксаванай у слоўніку В. Дарашэўскага (*Słownik* 1958–1969).

Найбольш важным у семантычнай структуры лексемы *ramię* з'яўляецца значэнне 'здольнасць да запамінання, захоўвання і ўзнаўлення ў памяці ўспрынятай інфармацыі, уражання і г. д.' У дадзеным выпадку лексема *ramię* выступае ў значэнні аб'екта ў словазлучэннях з пасесійным прэдыкатам *mieć* і прыметнікам, які ўказвае на наяўнасць/адсутнасць узгаданай здольнасці. У фразеалагізмах з дадзенай структурай найбольш важнымі характарыстыкамі памяці з'яўляюцца: а) здольнасць да дастаткова хуткага і аб'ёмнага запамінання (*mieć chłonność pamięci* – метафарычны перанос значэння на падставе агульных сем: у дзеяслова *zapamiętywać* – 'ўбіраць у ся-

бе, рабіць пэўнае здарэнне часткай сваёй свядомасці, у прыметніка *chłonny* – 'такі, што лёгка ў сябе ўбірае, упітвае'); б) здольнасць да дакладнага запамінання і захавання ў памяці (*mieć fotograficzną pamięć* – метафарычны перанос значэння на падставе семы 'такі, які дакладна захоўвае адбітак, адлюстраванне'); в) здольнасць/няздольнасць да дастаткова доўгага захавання ў памяці (*mieć dziurawą pamięć* – метафарычны перанос значэння на падставе семы 'дзіравы – 'няздольны захоўваць', а таксама на падставе ўяўлення аб памяці як аб ёмістасці; *mieć długą/krótką pamięć, zart. mieć pamięć jak niedźwiedzi ogon* – перанос значэння заснаваны на распаўсюджаным тыпе метафары, калі час апісваецца ў катэгорыях прасторы: у дадзеным выпадку метафара 'доўгі (прамежак часу)' – 'доўгі (працяглы ў прасторы)'); г) здольнасць у патрэбны момант дастаткова хутка ўзнаўляць у памяці (*mieć niezawodną pamięć* – метафарычны перанос значэння на падставе ўяўлення аб памяці як аб механізме).

Калі апісваецца здольнасць да запамінання, захоўвання і ўзнаўлення ў памяці пэўнага віду, лексема *pamięć* можа далучаць два азначэнні, з якіх другое ўказвае на від памяці, а першае – на яе якасць: *mieć dobrą/złą pamięć słuchową/wzrokową* альбо выступаць у словазлучэнні з назоўнікам, які абазначае прадмет запамінання: *mieć pamięć do imion, cyfr i t. d.*

У сінтаксемах, якія абазначаюць страту/вяртанне памяці, лексема *pamięć* выступае ў ролі аб'екта ў пасесійных канструкцыях: *stracić/odzyskać pamięć*, прычым словазлучэнне *stracić pamięć* можа абазначаць не толькі страту памяці, але і страту прытомнасці; антонімам дадзенага словазлучэння з'яўляецца *powróciła komuś pamięć*. У сінтаксеме са значэннем часовай няздольнасці ўзнавіць неабходнае ў памяці лексема *pamięć* выступае ў значэнні недапасаванага азначэння (*mieć zaćmienie pamięci*) альбо граматычнага суб'екта (*pamięć zawodzi/myli/szwankuje*).

Другім значэннем у семантычнай структуры лексемы *pamięć*, як правіла, вылучаюць значэнне 'сукупнасць інфармацыі, якая захоўваецца ў памяці асобнага чалавека'. У значэнні 'крыніца інфармацыі' лексема *pamięć* прадстаўлена ў канструкцыях з дзеясловамі маўлення (*recytować/wykładać z pamięci*). Памяць можа трактавацца суб'ектам маўлення як дакладная крыніца, якая надзейна захоўвае закладзеную ў яе інфармацыю (*umieć na pamięć, znać na pamięć*), так і як недакладная, якой уласціва здольнасць змяняць, губляць, таму лексема *pamięć* у спалучэнні з прыназоўнікамі *na* і *bez* можа абазначаць: а) 'без дастатковай падставы' *sądzić/wyrokować na pamięć*; б) 'няўпэўненасць суб'екта маўлення ў інфармацыі, якую ён пераказвае' *Nie gadaj bez pamięci, kiedy nie wiesz*; в) 'успяваю, навобмацак' *iść w ciemności na pamięć*.

Устойлівыя словазлучэнні *recytować/wykładać z pamięci* і *umieć na pamięć, znać na pamięć* маюць таксама сему 'ажыццяўляць дзеянне лёгка, без якіх дадатковых альбо значных намаганняў'. Дадзеная сема матывуе з'яўленне словазлучэнняў *żyć na pamięć* 'ні аб чым не турбавацца', *bies na pamięć* – 'бегчы куды вочы глядзяць, без нейкай пэўнай мэты'.

Лексема *pamięć* выступае таксама ў значэнні 'сукупнасць успамінаў, пачуццяў, ацэнак, думак, якія датычаць пэўнага часу/падзеі/асобы, якія могуць захоўвацца як у памяці асобнага чалавека, так і калектыўнай'. У дадзеным значэнні лексема памяць выступае ў канструкцыях з назоўнікамі:

а) у родным склоне (*Pamięć wielkiej rywalizacji jest w nich jeszcze żywa...* (Cz. Miłosz)*); б) у месным склоне (*pamięć o bohaterach narodowych*).

Захаваанне ў калектыўнай памяці апісваецца словазлучэннямі, у састаў якіх уваходзіць назоўнік *pamięć* у ролі азначэння і дапасаваны да яго прыметнік з ацэначным значэннем: *zostawić po sobie dobrą/złą, zachować o*

* Тут і далей у дужках прыводзяцца прозвішчы аўтараў мастацкіх тэкстаў.

kimś dobrą pamięć. У словазлучэннях, якія апісваюць розныя дзеянні/ацэнкі грамадства адносна памяці аб кім-небудзь/чым-небудзь, лексема *pamięć* выступае ў значэнні рэцыпіента (*składać hołą czyjejs pamięci, cześć jego pamięci*) альбо аб'екта (*((u)czcić czyjąs pamięć, szanować czyjąs pamięć*).

Лексема *pamięć* выступае і ў іншых значэннях, якія належаць да сферы калектыўнай памяці і калектыўнай свядомасці. Паколькі памяць звязана з выбарчасцю (запамінаецца толькі тое, што важна), на падставе семы 'важны, знакавы' дадзеная лексема можа выступаць у значэнні: а) 'маральны прыклад, эталон, на які павінен арыентавацца чалавек і якім ацэньваюцца ўчынкі іншых людзей': *pamięć na ojca/na dobre imię, być godnym pamięci*; б) 'абавязак, доўг у адносінах да каго-небудзь, як правіла, у адносінах да памерлага': *dochować pamięci*.

Паколькі памяць з'яўляецца сродкам захавання інфармацыі, неабходнай для выканання розных матэматычных аперацый, лексема *pamięć* можа выступаць у значэнні 'дапаможны сродак для выканання матэматычных аперацый': *liczyć/dodawać i t. p. w pamięci*. На падставе семы 'захаванне інфармацыі' лексема *pamięć* стала выкарыстоўвацца для абазначэння матэрыяльнага прадмета, г. зн. з'явілася значэнне 'электроннае прыстасаванне, якое служыць для захавання інфармацыі, элемент устройства камп'ютэра, які служыць для захавання дадзеных і праграм' (*Słownik* 1996). Сам тэрмін *аб'ём памяці* заснаваны на вельмі распаўсюджаным у мове вобразе памяці як ёмістасці, што адлюстравалася, напрыклад, у наступных фразеалагізмах: *chować/nosić w pamięci, mieć dziurawą pamięć, zapadło w pamięć*.

Лексема *pamięć* пераносіцца на абазначэнне іншых кагнітыўных працэсаў, разумовай дзейнасці ў цэлым (метанімічны перанос частка – цэлае). У мове падкрэсліваецца неабходнасць памяці для нармальнай жыццядзейнасці чалавека, яна трывала звязваецца са свядомасцю, розумам, самакантролем: словазлучэнне *bez pamięci* можа абазначаць: а) 'без прытомнасці' *uraść bez pamięci*; б) 'страсна, забыўшыся пра ўсё' *zakochać się bez pamięci*. Этымалогія лексемы *pamiętny* дазваляе меркаваць, што ў старапольскай мове яна проціпастаўлялася лексеме *pamięć* (Brukner 1970); в) 'шмат, няўстрымана' *objeść się/upić się bez pamięci*; г) 'вельмі моцна, да ступені, калі суб'ект не можа кантраляваць дадзены працэс' *Spać tu się chciało bez pamięci, że na murawę cisnął się jak długi* (J. Szymanowski).

Лексема *pamięć* выступае таксама ў значэнні 'меркаванне, прычына, падстава' (*przez pamięć na kogos*), 'матывацыя' *dla czyjejs pamięci, ku pamięci potomków*, 'думка': *Ta jedna pamięć, iż za prawdę cierpiemy, słodziła nam przykrości* (St. Staszic). Памяць можа асэнсоўвацца як важны аргумент, які выкарыстоўвае суб'ект маўлення, каб пераканаць суразмоўцу: *zaklinać na czyjąs pamięć. Dla jej pamięci też powinniśmy zapomnieć o wszystkich dawnych urazach* (H. Sienkiewicz).

Паколькі памяць закранае эмацыянальную сферу жыцця чалавека, дадзеная лексема можа выступаць у значэнні 'каханне, любоў, увага': *być wdzięcznym/dziękować komu za (laskawą) pamięć*. Памяць можа і проціпастаўляцца пачуццям як нешта механічнае, пазбаўленае эмоцыі, яе называюць «малпінай», г. зн. такой, якая бессэнсоўна капіруе (A. Libera).

Паколькі памяць звязана з мінулым, лексема *pamięć* у родным склоне ў спалучэнні з прыметнікам з'яўляецца максімальна сціслым намёкам на якое-небудзь здарэнне ў мінулым, напрыклад, часта так гавораць пра памерлага: *świętej/niodżałowanej pamięci*. Прыметнік у падобным словазлучэнні можа ўтрымліваць ацэнку суб'ектам маўлення ўчынкаў памерлага, напрыклад, у словазлучэнні *wiecznej pamięci* – пазітыўную; *niestawnej/przekłętej pamięci* – негатыўную.

Паколькі памяць з'яўляецца адлюстраваннем мінулага чалавека і, такім чынам, непасрэдна звязана з часам, лексема *pamięć* у спалучэнні з прыназоўнікам *за* выступае ў значэнні: а) 'пэўны прамежак часу, з якога суб'ект

свядома ўспрымае падзеі: *za czyjejs pamięci*; б) 'пэўны прамежак часу' *za świeżej pamięci* – невялікі прамежак часу, *zart. od świętej pamięci* – значны.

Большасць вышэйузгаданых словазлучэнняў у сінтаксічнай структуры сказа з'яўляюцца прэдыкатамі, якія апісваюць цэлую сітуацыю, напрыклад: *świętej/światlanej/nieodżałowanej pamięci* 'Х памёр да моманту гаворкі' *zostawić po sobie złą pamięć* 'Х веў вобраз жыцця, які негатыўна ацэньваецца грамадствам', часам фразеалагізмы з лексмай *pamięć* змяшчаюць дзве прэдыкацыі, напрыклад: *przez pamięć na kogoś* ((1)'Х робіць што-небудзь, таму што гэта спадабалася б, было б станоўча ацэнена Y, (2)Y памёр да моманту гаворкі').

Лексема памяць уваходзіць у шэраг фразеалагізмаў, што абазначаюць розныя працэсы, якія яна кантралюе, такія як запамінанне, захаванне, узнёўленне ў памяці, забыванне. Такім чынам, словаўжыванне лексемы *pamięć* можна прывесці да наступнай схемы (малюнак), у якой згодна са спалучальнасцю дадзенай лексемы мы падзялілі яе семы на дзве групы: уласцівасці (на падставе дадзеных сем лексема *pamięć* далучае аргументы), дзеянні, г. зн. аперацыі, якія памяць выконвае (на падставе дадзеных сем лексема *pamięć* далучае прэдыкаты).

Асноўныя семы з групы ўласцівасцей мы разгледзелі ў пачатку нашай працы. Сема 'капрызнасць, непрадказальнасць' (I.4) з'яўляецца патэнцыяльнай, але актуалізуецца часта, адзін з найбольш распаўсюджаных эпітэтаў лексемы *pamięć* у польскай мове – *kapryśna: Nasza pamięć kapryśnie utrwała tylko niektóre szczegóły* (Słownik 1996).

Сема 'разнастайнасць, шматлікасць успамінаў, што захоўваюцца ў памяці' (I.5) таксама выражаецца ў мастацкай літаратуры, напрыклад, у метафарачным параўнанні памяці з кладоўкай, архівам ці ландшафтам.

Сема 'аддаленасць ад моманту запамінання, успрыняцця ўражання, часу, калі адбылася падзея' (I.6) уваходзіць у семантыку некаторых фразеалагізмаў семантычнага поля памяці, г. зн. уваходзіць указанне на час, які прайшоў паміж момантам запамінання і момантам маўлення. Аддаленасць моманту ўзнёўлення ў памяці ад моманту запамінання, успрыняцця ўражання адлюстроўваецца таксама ў метафары памяці як маста, які злучае сёння з мінулым, і памяці як вандроўкі з сённяшняга дня ў мінулае. У гэтым выпадку час апісваецца ў катэгорыях прасторы. У мастацкім тэксце памяць можа параўноўвацца з аддаленымі землямі: «...*odległe lądy pamięci wynurzają się raptownie*» (J. Iwaszkiewicz).

Памяць з'яўляецца максімальна сціслым, канцэнтраваным адлюстраваннем мінулага (I.8), выбаркай асноўнага, як правіла, таго, што зрабіла найбольшае ўражанне.

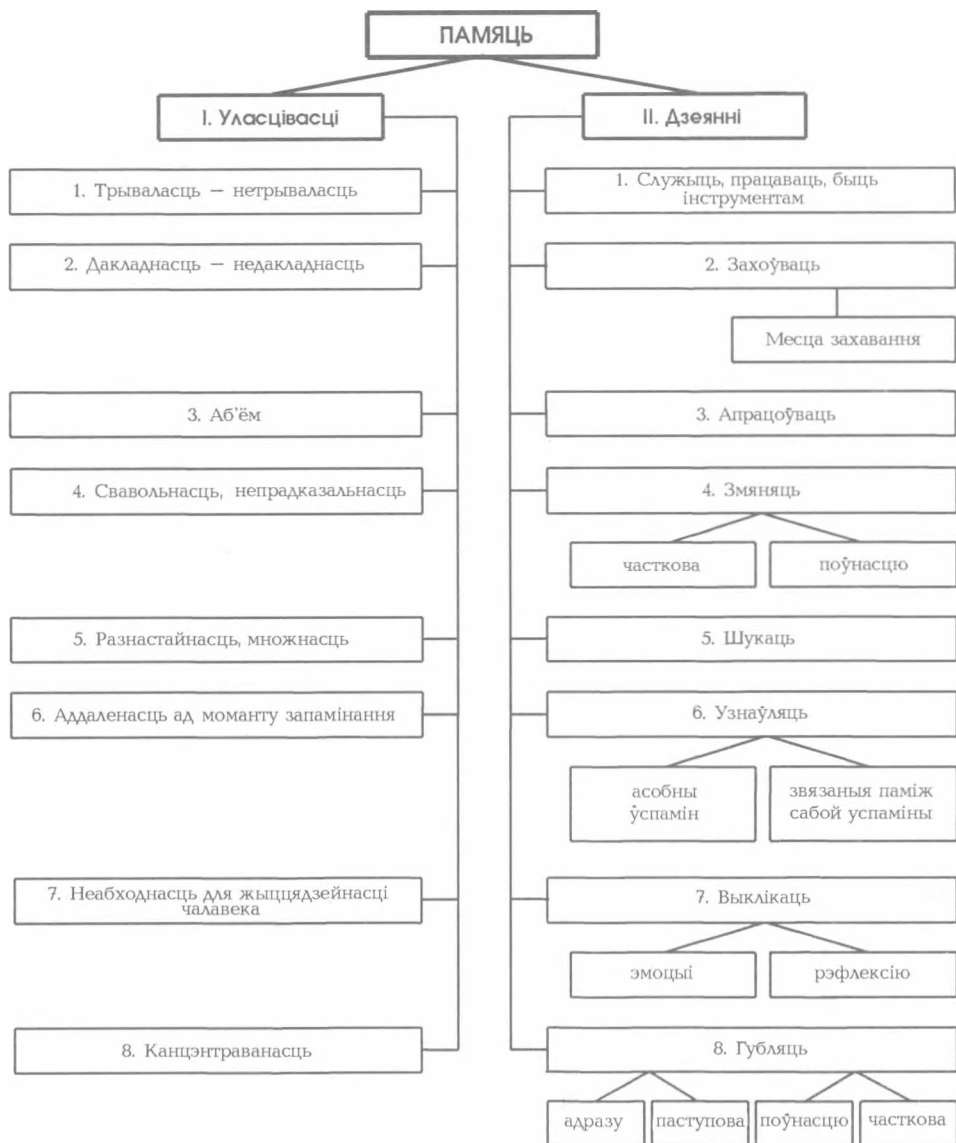
Уяўленне аб памяці як нечым, што працуе, служыць (II.1), адлюстроўваецца ў фразеалагізме: *wysilać pamięć*. Адзін з найбольш распаўсюджаных эпітэтаў памяці ў мастацкім тэксце – *usługiwająca: Kiedy usłuzna pamięć, wyrwana do odpowiedzi, wydobyła z archiwum zamówiony materiał... zwróciłem uwagę, że nie mogę ustalić, czy podczas akademii Madame była na sali...* (A. Libera).

Сему 'захоўваць' (II.2) змяшчаюць фразеалагізмы, якія апісваюць як запамінанне, так і захаванне ў памяці. На падставе метаніміі ў лексемы памяць з'яўляецца значэнне 'месца, дзе захоўваюцца ўспаміны': *zapadło w pamięć, nosić w pamięci, szukać w pamięci, wymazać z pamięci* і т. д.

Успрынятыя ўражанні не проста захоўваюцца ў памяці, але і апрацоўваюцца, інтэрпрэтуюцца (II.3), таму памяць можа параўноўвацца з кладоўкай, дзе яны раскладзены па розных паліцах, але і з паддашкам, дзе ўспаміны пераблытаны.

Памяці ўласціва змяняць нашы ўражанні і інфармацыю (II.4), што адлюстравалася ў наступных словазлучэннях, якія выражаюць няўпэўненасць

суб'екта ў сапраўднасці інфармацыі, якую ён пераказвае: *jeżeli pamięć mnie nie myli/nie zawodzi*. Памяць можа не толькі змяняць інфармацыю, але і пачуцці чалавека адносна здарэння, якое з'явілася прадметам успаміну, напрыклад, што-небудзь непрыемнае можа ўспамінацца як прыемнае, г. зн. ствараецца свайго роду ілюзія рэальнага здарэння: *Im ciężiej cierpim, tym wspominać słodziej*.



Спалучальнасць лексемы *pamięć* у польскай мове

Сема 'губляць' (II.8) прадстаўлена групай лексем і фразеалагізмаў са значэннем забывання.

Мэтанакіраванае ўзнаўленне ў памяці прадугледжвае пошук успаміну (II.5): *szukać w pamięci, grzebać w pamięci* і паўторнае зрокавае ўзнаўленне вобраза (II.6): *wywołać w pamięci obraz...* У гэтым выпадку ўспаміны ўяўляюцца звязанымі паміж сабой, узнаўляецца ў памяці не толькі патрэбны эпізод, але цэлы шэраг уражанняў, звязаных (альбо нават не звязаных) з патрэбным. У мове гэта адлюстравалася ў наступных фразеалагізмах *snuć nic/przędzę wspomnień*. У мастацкім тэксце ўзнаўленне ў памяці параўноўва-

ецца да пракручвання кіна- альбо фотастужкі: *Im dlużej lustrowałem ten epizod w pamięci (jakbym tam i z powrotem przesuwiał, klatka po klatce wycinek taśmy filmowej) ze gdy padły te słowa, gniewne oblicze Madame ściął na ułamek sekundy jakiś grymas czy skurcz* (A. Libera).

Такім чынам, можна адзначыць, што структура значэння лексемы памяць сведчыць, што ў свядомасці носьбітаў польскай мовы памяць звязана са сферай разумовай дзейнасці, міжасабовымі адносінамі чалавека, функцыяніраваннем у грамадстве, якое змушае кіравацца пэўнай сістэмай норм і правілаў, захоўваць і перадаваць з пакалення ў пакаленне пэўны пласт ведаў і традыцый. Семантыка сінтаксем, якія абазначаюць працэсы запамінавання, захавання і ўзнаўлення ў памяці, матывуецца таксама спецыфікай памяці як псіхалагічнага працэсу, які складаецца з некалькіх аперацый. У фразеалогіі гэтыя аперацыі прадстаўляюцца метафарычна з дапамогай другаснай намінацыі.

Літаратура

A Dictionary of selected synonyms in principal Indo-European Languages / By C.D. Buck. Chicago, 1949.

Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1970.

Słownik języka polskiego / Red nacz. Witold Doroszewski. Warszawa, 1958–1969.

Słownik współczesnego języka polskiego / Red nauk. B. Dunaj. Warszawa, 1996.

Паступіла ў рэдакцыю 08.02.2001.

Гушчава Вольга Ігаруна – аспірант кафедры тэарэтычнага і славянскага мовознаўства філалагічнага факультэта. Навуковы кіраўнік – доктар філалагічных навук, дацэнт А.А. Кожынава.

Н.Г. СЛЫХАЛОВА

СОМАТИЧЕСКИЕ РЕЧЕНИЯ СО ЗНАЧЕНИЕМ УДИВЛЕНИЯ В РОМАНЕ МИХАИЛА БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА»

В статье предлагается описание русских соматических речений (номинативных единиц русского языка, закрепленных за отражением жестов, мимики, поз, выражений лиц, симптомов душевных переживаний) со значением удивления в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

The article contains a description of Russian expressions denoting the gestures, facial expression, poses, countenances, outward physical symptoms of emotions with astonishment in Bulgakov's novel "The Master and Margarita".

Эмоциональная экспрессия – одна из базовых составляющих человеческой природы. В нашем распоряжении оказывается все больше и больше данных, свидетельствующих о том, что каждая из эмоций имеет свой специфический экспрессивный компонент. Очевидно, что, кроме мимики, эмоциональная экспрессия включает в себя голосовые и пантомимические проявления, менее изученные в настоящее время.

Как показано в работах Дарвина и в трудах современных ученых (см. Екман 1972), фундаментальные эмоции одинаково проявляются у представителей самых разных культур. Однако факт существования генетических механизмов фундаментальных эмоций вовсе не означает, что в жизни человека есть некие неизбылемые, немодифицируемые аспекты. Напротив, практически любой человек, взрослея, приобретает способность управлять врожденной эмоциональностью, в той или иной степени трансформировать ее. Кроме того, эмоции различаются своей интенсивностью – они могут быть как очень слабыми, так и очень сильными. Некоторые номинативные единицы закреплены за отражением значимых жестов, мимики, поз, симптомов душевных переживаний. Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров предлагают называть данные единицы соматическими речениями (см. Верещагин 1990).

В романе «Мастер и Маргарита» М. Булгакова нами зафиксировано около пятидесяти случаев употребления соматических речений со значением удивления, причем соматическое речение может включать или не включать название эмоции. Приведем для примера несколько отрывков из романа:

– Обе вы хороши, – звучно сказала Маргарита, переваливаясь через подоконник в кухню. Обе ссорящиеся повернулись на голос и замерли с грязными ложками в руках. Маргарита осторожно протянула руку между ними, повернула краны в обоих примусах и потушила их. Женщины охнули и открыли рты (Булгаков 1988, 241).

Опасения Ивана Николаевича полностью оправдались: прохожие обращали на него внимание и оборачивались. Вследствие этого он принял решение покинуть большие улицы и пробираться переулочками, где не так назойливы люди, где меньше шансов, что пристанут к босому человеку, изводя его расспросами о кальсонах, которые упорно не желали стать похожими на брюки (Булгаков 1988, 64).

Швейцар у дверей, выкатив глаза и даже подпрыгивая от удивления, глядел на черную доску, стараясь понять такое чудо: почему это завизжал внезапно список жильцов (Булгаков 1988, 242).

Названия частей тела либо входят в состав соматического речения со значением удивления как компонент, либо в составе лексического значения других компонентов подразумевается участие той или иной части тела. Например:

1) глаза (девятнадцать случаев употребления соматических речений):

Степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервирован поднос. На нем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке и, наконец, водка в объемистом ювелиршином графинчике (Булгаков 1988, 88);

2) рот (восемь случаев употребления соматических речений):

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза (Булгаков 1988, 286);

3) тело (десять случаев употребления соматических речений):

– А он попросту соверал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обращаясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, совраши!

С галереи плеснуло смешком, а Бенгальский вздрыгнул и выпучил глаза (Булгаков 1988, 130);

4) плечи (пять случаев употребления соматических речений):

К необыкновенному исчезновению Лиходеева присоединилось совершенно непредвиденное исчезновение администратора Варенухи. Римскому было известно, куда он ушел, но он ушел и... не пришел обратно! Римский пожимал плечами и шептал сам себе:

– Но за что?! (Булгаков 1988, 127);

5) руки (четыре случая употребления соматических речений):

И тотчас все эти вещи, деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на распялках и пояс – все это посыпалось на пол. И Наташа всплеснула освободившимися руками.

– Что, хороша? – громко крикнула охрипшим голосом Маргарита Николаевна (Булгаков 1988, 237);

6) голова (четыре случая употребления соматических речений):

Удивление выразилось на лице секретаря, сгорбившегося над низеньким столом и записывавшего показания. Он поднял голову, но тотчас же опять склонил ее к пергаменту (Булгаков 1988, 34);

7) лицо (три случая употребления соматических речений):

В партере зашевелились, начали привставать, и, наконец, какой-то гражданин, которого, точно, звали Парчевским, весь пунцовый от изум-

ления. извлек из бумажника колоду и стал тыкать ею в воздух, не зная, что с нею делать (Булгаков 1988, 131);

8) брови (два случая употребления соматических речений):

Физиономия Бенгальского, пригорюнившегося сбоку сцены, начала выражать недоумение. Он чуть-чуть приподнял бровь, и, воспользовавшись паузой, заговорил:

– Иностраный артист выражает свое восхищение Москвой, выросшей в техническом отношении, а также и москвичами, – тут Бенгальский дважды улыбнулся, сперва партеру, а потом галерее (Булгаков 1988, 130);

9) губы (один случай употребления соматического речения):

Никанор Иванович подумал, что он прибавит к этому: «Ну и аппетитик же у вас, Никанор Иванович!» – но Коровьев сказал совсем другое:

– Да разве это сумма! Просите пять, он даст.

Растерянно ухмыльнувшись, Никанор Иванович и сам не заметил, как оказался у письменного стола покойника, где Коровьев с величайшей быстротой и ловкостью начертил в двух экземплярах контракт (Булгаков 1988, 107);

10) челюсть (один случай употребления соматического речения):

– Ну да, неизвестно, – послышался все тот же голос из кабинета, – подумай, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате...

Буфетчик сидел неподвижно и очень постарел. Темные кольца окружили его глаза, щеки обвисли и нижняя челюсть отвалилась (Булгаков 1988, 215).

Можно выделить следующие типы физических изменений, происходящих в случае, когда субъект испытывает эмоцию удивления:

1. Кратковременная остановка в функционировании части тела:

Остолбенев от этого слова «пилатчина», я развернул третью газету (Булгаков 1988, 152).

Тогда Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати, вынул из портфеля складной метр и шагнул в кабинет.

Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрогнул. За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджачке, в жокейской шапочке и в пенсне... ну, словом, тот самый (Булгаков 1988, 104).

2. Кратковременное экстраординарное функционирование части тела:

Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки (Булгаков 1988, 96).

– А, милейший барон Майгель, – приветливо улыбаясь, обратился Воланд к гостю, у которого глаза вылезли на лоб, – я счастлив рекомендовать вам, – обратился Воланд к гостям, – почтеннейшего барона Майгееля, служащего зрелищной комиссии в должности ознакомителя иностранцев с достопримечательностями столицы (Булгаков 1988, 278).

– Да, мы – атеисты, улыбаясь, ответил Берлиоз, а Бездомный подумал, рассердившись: «Вот прицепился, заграничный гусь!»

– Ох, какая прелесть! – вскричал удивительный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора (Булгаков 1988, 23).

Кроме того, при выражении эмоции удивления наблюдается ряд конкретных изменений, зависящих от функционирования части тела, производящей соматизм. Так, например, для глаз характерным будет увеличение размера (например, вытаращить глаза, глаза полезли на лоб), для бровей – их движение вверх (поднять брови, приподнять бровь), для лица – изме-

нение цвета (*побледнеть, покраснеть*), для головы – изменение ее положения (*обернуться, поднять голову, вертеть головой*) и т. д.

Многообразие соматических речений со значением удивления можно объяснить несколькими причинами. В невербальном языке существует достаточно большое количество соматизмов со значением удивления. Поскольку сама эмоция может характеризоваться различной мимической и пантомимической экспрессивной реакцией, то закономерно использование различных соматических речений. Кроме того, один и тот же соматизм может быть выражен разными предложениями: *выпучить глаза, вытаращить глаза, глаза полезли на лоб, глядеть, раскрыв рот*.

И положительные, и отрицательные эмоции различаются своей интенсивностью, они могут быть как очень слабыми, так и очень сильными. Чем больше степень удивления субъекта данной эмоции, тем больше производится движений, сопровождающих эмоцию удивления:

Прокуратор хорошо знал, что именно так ему ответит первосвященник, но задача его заключалась в том, чтобы показать, что такой ответ вызывает его изумление. Пилат это и сделал с большим искусством. Брови на надменном лице поднялись, прокуратор прямо в глаза поглядел первосвященнику с изумлением (Булгаков 1988, 45).

Степа позвонил в Московскую областную зрелищную комиссию и этот вопрос согласовал (Степа побледнел и заморгал глазами), подписал с профессором Воландом контракт на семь выступлений (Степа открыл рот), условился, что Воланд придет к нему для уточнения деталей в десять часов утра сегодня... (Булгаков 1988, 89).

Очевидно, что недоумение, изумление могут рассматриваться как различные по интенсивности явления внутри континуума удивления, что предполагает использование разных соматических речений, отражающих:

1. Собственно удивление:

Римский невольно ухватился за живот, присутствующие ахнули, а гример, заглядывающий в дверь, одобрительно крякнул.

– *Ваши часики? Прошу получить,* – развязно улыбаясь, сказал клетчатый и на грязной ладони подал растерянному Римскому его собственность (Булгаков 1988, 128).

– *Я, изволите ли видеть, состою переводчиком при особе иностранца, имеющего резиденцию в этой квартире,* – отрекомендовался назвавший себя Коровьевым и щелкнул каблуком рыжего начищенного ботинка.

Никанор Иванович открыл рот. Наличность какого-то иностранца, да еще с переводчиком, в этой квартире явилась для него совершеннейшим сюрпризом, и он потребовал объяснений (Булгаков 1988, 105).

2. Недоумение:

– *А вы поройтесь у себя в портфеле, Никанор Иванович,* – сладко предложил Коровьев.

Никанор Иванович, пожимая плечами, открыл портфель и обнаружил в нем письмо Лиходеева (Булгаков 1988, 106).

– *Ничего не понимаю,* – *пожимая плечами и отъезжая с креслом от стола, говорил профессор.* – *Как же он может знать, когда вы помрете? Тем более, что он не врач!* (Булгаков 1988, 218).

Скромный и тихий Василий Степанович только моргал глазами, слушая рассказы обо всех этих чудесах, и решительно не знал, что ему предпринять, а между тем предпринимать нужно было что-то, и именно ему, так как он теперь оказался старшим во всей команде Варьете (Булгаков 1988, 191).

3. Изумление:

Мастер вытаращил глаза, шепча:

– *Однако это будет, пожалуй, почище того, что рассказывал Иван!* – совершенно потрясенный, он оглядывался и наконец сказал коту: – *А*

простите... это ты... это вы... — он сбился, не зная, как обращаться к кому, на «ты» или на «вы», — вы — тот самый кот, что садились в трамвай? (Булгаков 1988, 293).

Тогда Никанор Иванович освободил дверь кабинета от печати, вынул из портфеля складной метр и шагнул в кабинет.

Шагнуть-то он шагнул, но остановился в изумлении в дверях и даже вздрыгнул.

За столом покойного сидел неизвестный, тощий и длинный гражданин в клетчатом пиджаке, в жокейской шапочке и в пенсне... ну, словом, тот самый (Булгаков 1988, 104).

Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздыхал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал:

— Не понимаю! Не по-ни-ма-ю! (Булгаков 1988, 116).

Поскольку обычное состояние сознания всегда характеризуется определенным уровнем эмоций, то они выступают как в сочетании, так и в конфликте с другим комплексом чувств. В романе «Мастер и Маргарита» наблюдаются следующие эмоциональные паттерны:

удивление и радость:

Тут в открытую дверь вбежала Наташа, как была нагая, всплеснула руками и закричала Маргарите:

— Будьте счастливы, Маргарита Николаевна! — Она закивала головой Мастеру и опять обратилась к Маргарите: — Я ведь все знала, куда вы ходите (Булгаков 1988, 294);

удивление и интерес:

— Именно, именно, — закричал он, Секретарь перестал записывать и исподтишка бросил удивленный взгляд, но не на арестованного, а на прокуратора (Булгаков 1988, 34);

удивление и гнев:

— Нет, — сказал Пилат, — это не оттого, что душно, а тесно мне стало с тобой, Каифа, и, сузив глаза, Пилат улыбнулся и добавил: — Побереги себя, первосвященник.

Темные глаза первосвященника блеснули, и, не хуже, чем ранее прокуратор, он выразил на своем лице удивление (Булгаков 1988, 47);

удивление и страх:

Ему открыли немедленно, но буфетчик вздрыгнул, попятился и вошел не сразу. Это было понятно. Открыла дверь девица, на которой ничего не было, кроме кокетливого кружевного фартучка и белой накладки на голове...

Андрей Фокич охнул, заморгал глазами и шагнул в переднюю, снимая шляпу (Булгаков 1988, 210).

В процессе социализации человек приобретает способность управлять врожденной эмоциональностью. Несмотря на то, что Изард Кэррол Э. (см. Изард 2000) указывает, что в большинстве случаев эмоция удивления является положительной, использование соматических речений со значением удивления в романе «Мастер и Маргарита» наблюдается при описании ситуаций, когда в состоянии сознания субъекта доминируют отрицательные эмоции. Неспособность скрыть интенсивное мимическое и пантомимическое проявление удивления в том случае, когда данная эмоция выступает в сочетании с отрицательными, иногда наносит ущерб субъекту эмоции, так как тот рассматривается как неспособный скрыть сильные ощущения или впечатления:

— Охотно, — отозвался незнакомец. Он смерил Берлиоза взглядом, как будто собирался сшить ему костюм, сквозь зубы пробормотал что-то вроде: «Раз, два... Меркурий во втором доме... луна ушла... шесть — не-

счастье... вечер – семь...» – и громко и радостно объявил: – Вам отрежут голову!

Бездомный дико и злобно вытаращил глаза на развязного неизвестного, а Берлиоз спросил, криво усмехнувшись:

– А кто именно? Враги? Интервенты? (Булгаков 1988, 27).

Другой эффект возникает, когда удивление выступает в сочетании с иными положительными эмоциями (радостью, интересом):

Маргарита сразу узнала его, простонала, всплеснула руками и подбежала к нему (Булгаков 1988, 289).

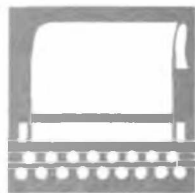
Сказанное выше позволяет сделать вывод, что концептуализация эмоций в значительной степени определяется языковыми факторами. Поскольку сфера эмоций недоступна прямому наблюдению, языковая фиксация симптоматических реакций и физических состояний, устойчиво ассоциируемых с различными проявлениями чувств, является основой, на которой в наивной картине мира формируется представление об их сущностных характеристиках. Из ведущей роли языка в концептуализации душевных состояний следует, что одна и та же эмоция, выраженная в языке разными способами, не тождественна самой себе.

Литература

- Булгаков М. Мастер и Маргарита. М., 1988.
Верецагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. М., 1990.
Изард Кэррол Э. Психология эмоций. СПб., 2000.
Ekman P., Friesen W.V., Ellsworth R.C. Emotion in the human face. New York, 1972.

Поступила в редакцию 18.09.2001.

Слыхалова Наталья Геннадьевна – аспирант кафедры русского языка. Научный руководитель – доктор филологических наук, профессор И.С. Ровдо.



В.П. ВАРАБ'ЁЎ

ПАЛІТАЛОГІЯ ЖУРНАЛІСТЫКІ: ШЛЯХІ СТАНАЎЛЕННЯ

В порядке постановки проблемы анализируется необходимость исследования и изучения современной журналистики с точки зрения ее субъектности в политическом процессе. Делается вывод о перспективности нового научного направления в журналистковедении, получившем рабочее определение "медиаполитология".

The necessity of investigation of the contemporary journalism on the bias of its subjectivity in the political process is analyzed within the framework of the problem. The conclusion is made about the perspective of a new scientific trend in journalism studies. It is defined as Media Politology.

Маштабнасць і інтэнсіўнасць працэсаў палітызацыі сродкаў масавай інфармацыі, выкрышталізаванасць з'яў медыятызацыі палітыкі (гл. Засурський 1999) абумоўліваюць неабходнасць спецыяльнага асэнсавання ўзрастаючай ролі журналістыкі ў сучасным жыцці. Журналістыка, прадастаўляючы грамадству функцыянальныя рэсурсы як сацыяльны інстытут, як фактар кіравання і стабілізацыі ўлады, як арганізатар інфармацыйнага абмену і грамадзянскага супрацоўніцтва, усё выразней сістэмна дэманструе палітычныя складальнікі сваіх асноўных функцый (інфармацыйных, камунікатыўных, арганізацыйна-кіруючых, сацыяльна арыентаваных). Змены ў накірунках дзейнасці ўлад, палітычных канфлікты, працэдуры прыняцця палітычных рашэнняў, выбары і рэферэндумы, мадэрнізацыя грамадскага жыцця і крызісы ў палітыцы яскрава ўдакладняюць праявы ўласна палітычных функцый сродкаў масавай інфармацыі (гл. Дзялошинский 1996).

У межах традыцыйных падыходаў да журналістыкі (ад інструментальнага да "чацвёртай улады") пастаянная, сістэмная і нарастаючая суб'ектнасць сродкаў масавай інфармацыі ў палітычных працэсах сучаснага грамадства не заўсёды можа быць растлумачана і спрагназіравана. Патрабуюцца каардынаты і крытэрыі, што знаходзяцца ў плоскасці як палітычнай, так і масава-інфармацыйнай дзейнасці (гл. Социальное функционирование журналистики 1994). Паліталогія журналістыкі (медыяпаліталогія) (гл. Вараб'ёў 2001) заклікана распрацаваць не зусім уладкаванае сумежа. Навуковая і практычная каштоўнасць сінтэзу канцэпцый, метадаў дзвюх галін ведаў (журналістыкі і паліталогіі) відавочная. Гэта дазволіць комплексна аналізаваць, адпаведна і аптымізаваць узаемадзеянне сродкаў масавай інфармацыі з іншымі суб'ектамі палітычнага працэсу.

Адчувальныя змены ў масава-інфармацыйнай і палітычнай дзейнасці вядуць да сцірання адрозненняў паміж імі, да атаясамлівання дзвюх сфер (гл. Социология журналистики 1998). Нярэдка заўважаюцца і праявы ўзрастаючай падпарадкаванасці палітычнага працэсу правілам СМІ (гл. Пугачев 2000). Гэтыя і іншыя фактары актуалізуюць шэраг прынцыпова важных новых задач навуковага і вучэбна-метадычнага характару на прадметным пе-

ракрыжаванні журналістыкі і паліталогіі. Вырашаць іх давядзецца маладому пакаленню журналістаў і палітыкаў (сённяшніх студэнтаў), палітолагаў і журналістыказнаўцаў. Паліталогія журналістыкі якраз і мае сваёй мэтай падрыхтаваць выпускнікоў факультэта журналістыкі да выканання адказнай ролі, дапамагчы раскрыць магчымасці, якімі валодае журналістыка, для вырашэння надзённых праблем палітычнай сферы, сфарміраваць метадычныя характарыстыкі дзейнасці студэнтаў у палітычнай журналістыцы.

Паліталогія журналістыкі (гл. Вараб'ёў 2000) як міждысцыплінарная галіна ведаў і практыкі вывучае ўзаемадзеянне сродкаў масавай інфармацыі з уладнымі інстытутамі дзяржавы і палітычнымі арганізацыямі, разглядае журналістыку як суб'ект палітычнага працэсу, як фактар сацыядынамікі палітычнай прасторы і сацыяльна-палітычнай трансфармацыі грамадства, асэнсоўвае ролю сродкаў масавай інфармацыі ў фарміраванні камунікатыўнага характару палітыкі дзеля выпрацоўкі і рэалізацыі канструктыўнай стратэгіі развіцця грамадства.

Такім чынам, аб'ектам паліталогіі журналістыкі з'яўляюцца рэдакцыі СМІ і палітычныя інстытуты грамадства, журналісты і палітыкі, спажывыцы інфармацыйна-палітычнай дзейнасці, матэрыялы газет, перадачы радыё і тэлебачання. Прадмет вывучэння – інфармацыйна-палітычныя з'явы, працэсы ў сучаснай журналістыцы, камунікатыўныя тэндэнцыі ў палітычнай сферы грамадства ва ўзаемасувязях і ўзаемаўплыве.

Паліталогія журналістыкі заклікана:

- сфарміраваць у студэнта веды ў галіне ўзаемадзеяння сістэмы сродкаў масавай інфармацыі з уладнымі інстытутамі дзяржавы і палітычнымі арганізацыямі;

- выпрацаваць комплексны падыход да журналістыкі не толькі як да сацыяльнага інстытута грамадства, але і як суб'екта палітычнага працэсу;

- замацаваць тэарэтычныя веды і практычныя навыкі на ўзроўні палітычнай культуры журналіста ў адпаведнасці з дынамікай працэсаў, месцам і роляй сістэмы СМІ ў палітычнай прасторы Беларусі;

- дапамагчы асэнсаваць навуковыя ўяўленні пра каштоўнасці палітычнай дзейнасці журналістаў і СМІ, яе змест, формы і метады;

- пазнаёміць студэнтаў з мадэлямі функцыянавання журналістыкі ў розных палітычных сістэмах (ад інструментальнай мадэлі да электаральнай);

- паказаць студэнтам сукупнасць рыс суб'ектнасці журналістыкі, вызначальныя фактары тапалогіі СМІ ў палітычнай прасторы Беларусі, рысы пазіцыйнасці і віды ангажыраванасці СМІ, асноўныя формы і накірункі ўдзелу журналістыкі ў палітычным працэсе (журналістыка як структурны элемент палітычнай сістэмы і як фактар рэформ, развіцця палітычнага асяродка, трансфармацыі грамадства);

- раскрыць тэхналогіі ўздзеяння журналістыкі на палітычны працэс (тэхналогія дыялогавага ўзаемадзеяння, інфармацыйнага абмену – грамадска-палітычная дыскусія (дыялог), грамадская экспертыза, маніторынг палітычных інтарэсаў; тэхналогія маніпуляцыйнага кшталту – дэзінфармацыя, дыфамацыя, сцэнарныя версіі, інтэлектуальныя правакацыі, рэйтынгавыя хвалі, інфармацыйныя войны);

- засяродзіць увагу на тыпах інфармацыйна-публіцыстычнай дзейнасці ў публічнай сферы суб'ектаў палітычнага працэсу (сітуацыйны і стратэгічны падыходы; журналістыка і публічная палітыка, журналістыка і медыятызаваная палітыка);

- усвядоміць месца і ролю дзяржавы ў фарміраванні інфармацыйнай палітыкі, формы і метады палітыка-прававога рэгулявання інфармацыйнай сферы, формы кантролю грамадства за дзейнасцю прэсы і падтрымкі свабоды СМІ;

- пазнаёміць студэнтаў з тэхналогіямі накіраванага ўздзеяння на прэсу з боку палітычных структур, уласнікаў інфармацыйных прадпрыемстваў;
- асэнсаваць асаблівасці дзейнасці палітычных аглядальнікаў і каментараў як актыўных удзельнікаў палітычнага працэсу.

Курс "Паліталогія журналістыкі" прапануецца студэнтам у 6-м семестры, калі яны ўжо засвоілі асноўныя прафесійныя і сацыяльна-гуманітарныя дысцыпліны, набылі пэўны вопыт практычнай журналісцкай дзейнасці. Падчас вывучэння дысцыпліны яны атрымаюць магчымасць узбагаціць свае ўяўленні новымі навуковымі дадзенымі, дасягнуць больш глыбокага разумення інфармацыйна-палітычных з'яў і працэсаў у грамадстве, у асвятленні і **развіцці** якіх яны будуць удзельнічаць у якасці не толькі палітычных каментараў і палітычных аглядальнікаў, але і палітычных функцыянераў.

Курс разлічаны на спалучэнне ведаў па сацыяльна-гуманітарных дысцыплінах з практычнымі патрэбамі рэдакцый і журналістаў. Ён карэспандуецца з тэарэтычным курсам "Асновы журналістыкі", а таксама тэарэтычна-практычным курсам "Асновы творчай дзейнасці журналіста", нарошчвае спецыяльную і прафесійную падрыхтоўку, уваходзячы ў комплекс дысцыплін: эканоміка і менеджмент журналістыкі, сацыялогія журналістыкі, псіхалогія журналістыкі, этыка журналіста. Інтэгруючы падыходы спецыяльных і сацыяльна-гуманітарных навук, гэты курс распрацоўвае сістэму прыёмаў і метадаў вырашэння асноўных інфармацыйна-палітычных праблем сучаснай журналістыкі і творчых прафесійных задач журналіста. Ён дапамагае вызначаць творчыя схільнасці студэнта і прафесійную арыентацыю для працы ў аддзелах ці рэдакцыях палітычнага жыцця.

У выніку засваення лекцыйнага курса, удзелу ў семінарах, азнаямлення з літаратурай, а таксама самастойных заняткаў студэнт павінен набыць сістэмнае ўяўленне аб палітычнай складаемай журналістыкі, навучыцца карыстацца апаратам медыяпаліталогіі для палітычнага аналізу і мадэліравання прафесійных акцый і кампаній, замацаваць устойлівыя навыкі працы са спецыяльнай літаратурай, аператыўна і творча ўдзельнічаць у асвятленні палітычнага жыцця краіны.

Прапануецца наступны адукацыйны **стандарт-рэзюме па курсу "Паліталогія журналістыкі"**.

Паліталогія журналістыкі як навуковая і вучэбная дысцыпліна, галіна ведаў на сумежжы журналістыкі і паліталогіі. Прадмет, аб'ект і метады вывучэння. Фарміраванне палітычнай культуры журналіста і станаўленне палітычнай тэорыі функцыянавання сродкаў масавай інфармацыі. Медыяпаліталогія і патрэбы практыкі сродкаў масавай інфармацыі.

Палітычныя аспекты функцыянавання масавай інфармацыі ў грамадстве. Палітызацыя СМІ. Журналістыка як масава-інфармацыйная і палітычная дзейнасць. Палітычныя тэорыі і журналістыка. Тапалогія СМІ ў палітычнай сістэме грамадства. Журналістыка як суб'ект палітычнага працэсу. Медыытызацыя палітыкі. Роля журналістыкі ў сацыядынаміцы палітычнай прасторы і сацыяльна-палітычнай трансфармацыі грамадства.

Палітычныя складальнікі функцый СМІ (інфармацыйных, камунікатыўных, арганізацыйна-кіруючых, сацыяльна арыентаваных). Уласна палітычныя функцыі СМІ.

Палітычныя мадэлі функцыянавання журналістыкі. Прэса інструментальная. "Чацвёртая ўлада". Электаральная мадэль журналістыкі. Палітычны выбар журналіста. Палітычная культура журналіста. Журналістыка і палітычныя ідэалогіі.

Прынцыпы і формы супрацоўніцтва розных палітычных інстытутаў грамадства. Журналістыка і ўлада: ад узаемадзеяння да партнёрства. Заканадаўчая, выканаўчая і судовая ўлады: канстытуіраванне дзейнасці і ажыццяўленне задач з дапамогай інстытута журналістыкі. Выбары і рэферэндумы: актывізацыя палітычных функцый журналістыкі.

Журналістыка і палітычныя партыі. Роля СМІ ў палітычнай арыентацыі і палітычнай сацыялізацыі асобы.

СМІ і фарміраванне камунікатыўнага стылю палітыкі. Арганізацыя інфармацыйнага абмену паміж суб'ектамі палітычнага працэсу дзеля выпрацоўкі і рэалізацыі стратэгіі развіцця грамадства. Тэхналогіі журналістыкі ў палітычнай дзейнасці. Тыпы інфармацыйна-публіцыстычнай дзейнасці СМІ ў палітычным працэсе.

Месца і роля дзяржавы ў фарміраванні інфармацыйнай палітыкі. Формы і метады палітыка-прававога забеспячэння функцыянавання інфармацыйнай сферы.

Спецыфіка дзейнасці палітычных аглядальнікаў і каментатараў як палітычных функцыянераў.

Літаратура

- Гл.: Вараб'ёў В.П. Паліталогія журналістыкі. Праграма курса. Мн., 2000.
 Гл.: Вараб'ёў В.П. Паліталогія журналістыкі: прадмет, мэты і задачы курса // Сродкі масавай інфармацыі ў дэмакратычным працэсе: Матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі, Мінск, 3 мая 2001 г. Мн., 2001. С. 11–15.
 Гл.: Дзялошинский И.М. Российские СМИ в избирательной кампании: уроки эффективности. М., 1996; Дунаева И.Ш. Российская пресса в структуре политических конфликтов // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2000. № 6.
 Гл.: Засурский И.И. Масс-медиа второй республики. М., 1999.
 Гл.: Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000.
 Гл.: Социальное функционирование журналистики / Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 1994.
 Гл.: Социология журналистики: Очерки методологии и практики / Под ред. С.Г. Корконосенко. СПб., 1998.

Паступіла ў рэдакцыю 04.05.2001.

Вараб'ёў Васіль Пятровіч – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, загадчык кафедры сацыялогіі журналістыкі, дэкан факультэта журналістыкі.

А.У. ПАТРЭБІН

ШТОДЗЁННЫЯ ГАЗЕТЫ БЕЛАРУСІ: ВЫЗНАЧЭННЕ ТЭМАТЫЧНЫХ ПРЫЯРЫТЭТАЎ У АСВЯТЛЕННІ ЭКАНАМІЧНАЙ ПРАБЛЕМАТЫКІ

В статье анализируется выбор, который предлагают читателям ежедневные газеты Беларуси через определение приоритетных тем. Подводятся итоги контент-анализа публикаций экономических разделов газет. Предлагается своеобразная шкала тематических приоритетов, связанная с планированием в редакциях и с процессом формирования экономической сознательности читателей.

The choice, which was proposed to readers by the daily newspapers of Belarus through the definition of the priority themes is analysed in the article. Results of the contentanalysis of the publication of economic sections of newspapers are done. The author proposes a peculiar scale of thematic priorities linked with the planning in editorial offices and with the forming process of the economic intelligence of readers.

У спрощаным, вульгарызаваным выглядзе элементы эканамічных тэорый трапляюць у свядомасць чытачоў друкаваных СМІ і замацоўваюцца ў ёй. У працэсе сацыялізацыі індывідаў, з якіх складаецца аўдыторыя выданняў, адбываецца фарміраванне ўласцівых масавай аўдыторыі стэрэатыпаў і міфаў, якія здольны прадвызначаць паводзіны спажывучоў інфармацыі. Гэтыя паводзіны і выбар, які робяць чытачы публікацый на эканамічных тэмах, будуць праяўляцца і ў іх практычных дзеяннях у якасці суб'ектаў эканамічных адносін.

Сучасная беларуская прэса можа быць разгледжана ў тым ліку як сродак папулярызацыі і вульгарызацыі эканамічных і палітэканамічных канцэпцый. У святле гэтага відавочна сацыяльная роля, якую набывае дыскус друкаваных СМІ, асабліва штодзённых газет. Па сутнасці, размову можна

весці аб выкананні прэсай такой важнай сацыяльнай функцыі як кіраванне. «Журналистика как influential социальный институт вовлечена в управленческие отношения. Она воздействует на аудиторию, должностных лиц, коллективы и социальные группы, стремясь направить их сознание и поведение на достижение определенных целей» (Корконосенко 1992, 3–4).

У сувязі з гэтым пэўную цікавасць прадстаўляе разнастайнасць варыянтаў эканамічнай прапаганды ў штодзённых грамадска-палітычных газетах. Нават калі мы вядзем размову толькі пра гэты лакальны сегмент рынку аичинных СМІ і калі мы аналізуем толькі газеты, якія прытрымліваюцца курсу, прынятага дзеючай уладай, можна бачыць адценні і варыяцыі ў падыходах, якія дыктуюцца як месцам той ці іншай газеты ў сістэме нацыянальных СМІ, так і колам іх чытацкай аўдыторыі. Рэальная шматукладнасць эканомікі і сацыяльная стратыфікацыя ў грамадстве вызначаюць адрозненні ў складзе аўдыторыі выданняў і прадвызначаюць шматварыянтнасць прыёмаў працы і тэматычнай палітры друкаваных СМІ. Трэба ўлічваць, што ў беларускім грамадстве суіснуюць элементы не толькі індустрыяльнага і постіндустрыяльнага ўкладаў, але і традыцыйнага грамадства. Відавочна значная дыферэнцыяцыя як сацыякультурнага аблічча, так і стэрэатыпаў, якія тычацца паводзін у грамадстве і сацыяльных роляў.

Погляды чытачоў масавай прэсы і іх паводзіны фарміруюцца ў значнай ступені праз падпарадкаванне пачуццёваму ўспрымання, характэрнаму для натоўпу. Тут мы маем справу са стэрэатыпамі і своеасаблівымі квазіідэямі, для якіх уласцівы спрощанасць і перадача шляхам заразлівасці. Размова ідзе аб перадачы структураваных масіваў тэкстаў, зместавых адзінстваў, якія праз распаўсюджанне ў СМІ набываюць здольнасць распальваць масавыя інтарэсы і інстынкты «магічнай сілай слоў», пра якую казаў яшчэ Гюстаў Ле Бон (Психология толп 1998, 160).

У гэтым выпадку СМІ правамерна разглядаць у тых жа рамках, што і масавую культуру. І як гэта паказана даследаваннямі шэрага вучоных XX ст., перш за ўсё Мірчэ Эліядэ і Ралана Барта, вобразы і спрощаныя ідэі-канцэпты, знакі і сімвалы звычайна выстройваюцца ў адмысловую рэальнасць, якая мае рысы міфа. Як выразна характарызаваў Ралан Барт, «наше общество является привилегированной областью мифических значений» (Барт 2000, 264). Сацыякультурны працэс разглядаецца як суіснаванне другасных знакавых сістэм, дзе традыцыйныя дэнататыўныя значэнні змяняюцца на канатацыі, якія існуюць у рамках дыскурса і дапамагаюць ствараць тэкстам выконваць сацыяльныя функцыі. У кожнага выдання, групы выданняў і нават у кожнага аўтара можа сфарміравацца свая знакавая сістэма, свае міфалогіі адносна тых ці іншых праяў рэчаіснасці, якія вызначаюць метады і асаблівасць генерацыі тэкстаў. Адносна дыскурса СМІ Барт таксама слухна заўважаў, што ў ім мова «стремится превратиться в наглядный опознавательный знак социального обязательства» (Барт 2000 [а], 63).

Кожны чытач робіць выбар на карысць таго міфа, які яму блізкі, больш падабаецца і абумоўлены ягонай сацыялізацыяй і сацыяльнай роляй, традыцыямі задавальнення патрэб і псіхалагічным станам. Таму ён аддае перавагу на працягу доўгага часу пэўным сродкам інфармацыі: газетам, часопісам, тэле- і радыёпраграмам. Зрабіўшы выбар, індывід падсілкоўвае сваім удзелам гэтае міфастварэнне, прыярытэты ў адборы інфармацыі, падыходы да норм генерацыі тэкстаў. Міф пры гэтым мімікрыуе, маскіруецца, змешваецца з аб'ектыўнай інфармацыяй, дадае да яе той ці іншы эмацыянальны тон, які ўздзейнічае на агульны кантэкст, у якім успрымаюцца паведамленні СМІ. Пры гэтым можна прызнаць актуальным вызначэнне функцый СМІ, якое сфармулявана Харалдам Ласвэлам: кантроль тэрыторыі сродкамі мас-медыа, інтэграцыя розных кампанентаў грамадства, перадача культурных каштоўнасцей і культурнай спадчыны (Брэтон, Пру 1995, 177).

Прасачыць, як асноўныя сацыяльныя функцыі прэсы рэалізуюцца ў практыцы дзяржаўных СМІ, нам дапамагаў кантэнт-аналіз публікацый на эканамічныя тэмы трох вядучых штодзённых беларускіх газет: «Звязды», «Рэспубліка» і «Советской Белоруссии». Кантэнт-аналіз дазволіў трансфармаваць вербальную інфармацыю ў аб'ектывную невербальную форму, сістэматызаваць масіў паведамленняў, плынь камунікацыі з пункту гледжання колькасці паведамленняў і якаснай тэматычнай структуры. Даследаванне дазволіла вызначыць характарыстыкі выданняў, адрасантаў камунікацыі і ў пэўнай ступені характарыстыкі адрасатаў, аўдыторыі. Супастаўляліся вербальныя плыні трох выданняў, ішло выяўленне сутнасных асаблівасцей у распрацоўцы эканамічнай праблематыкі. Для аналізу было абрана больш за 10 асноўных тэм, якія ахопліваюць змест гэтых раздзелаў. Падаецца магчымым вызначыць тэмы наступным чынам: АПК; прамысловасць; фінансы; дзяржаўнае рэгуляванне эканомікі; крымінал у эканоміцы; інтэграцыя Расіі і Беларусі; спажывецкі рынак; паліўна-энергетычны комплекс (ПЭК); транспарт і сувязь; інавацыі; сацыяльная палітыка; будаўніцтва; прыватны бізнес; маркетынг і паводзіны суб'ектаў рынку.

Мы бачым, што менавіта акрэслены набор тэм, якія становяцца прыярытэтнымі ў плыні штодзённай інфармацыі, фарміруе ўсведамленне і акцэнт увагі чытачоў, накіроўвае іх успрыманне ў тое ці іншае рэчышча. Падзеі і праблемы часцей за ўсё ўспрымаюцца так, як іх прадстаўляюць штодзённа ў інфармацыях і каментарыях. Широка вядома вызначэнне рэдактара СМІ як «гэйткіпера», які адчыняе альбо зачыняе браму перад той ці іншай інфармацыяй. У нашы задачы не ўваходзіць аналіз «гэйткіперства», мы паспрабавалі прааналізаваць вынікі дзейнасці такога кшталту. Падлік праводзіўся ў дачыненні частаты звяртання да асноўных тэм у публікацыях. Адзінкай аналізу ў дадзеным выпадку служыла менавіта тэма як асобнае выказванне аб пэўнай з'яве ці канкрэтным факце. Тэма не выходзіла за рамкі журналісцкага тэксту. Новы зварот да яе фіксаваўся пры пераходзе да іншага тэксту, пры змене дзеючай асобы, мэты, катэгорыі. У нашым выпадку «ўспрымаемым» выступае аўдыторыя выдання, дзеячы, мэта, катэгорыі характарызаваў і сам прадмет выказвання і яго вызначальны змест.

Раней аўтар публікаваў вынікі даследавання па гэтай метадыцы, якое ахапіла публікацыі трох выданняў у першым квартале 1999 г. Цяпер аналіз быў паўтораны на матэрыяле першага паўгоддзя 2001 г. Акрэслілася як захаванне пэўных тэматычных прыярытэтаў, так і дынаміка ў распрацоўцы эканамічнай праблематыкі.

Тэматыка публікацый на эканамічныя тэмы ў штодзённых газетах Беларусі за першае паўгоддзе 2001 г.

Тэматыка	«Рэспубліка»			«Звязда»			«Советская Белоруссия»		
	інф	ан	усяго	інф	ан	усяго	інф	ан	усяго
АПК	73	41	114	44	40	84	28	41	69
Прамысловасць	85	49	134	46	43	89	81	57	138
Фінансы	52	31	83	50	28	78	48	22	70
Дзяржрэгуляванне	76	96	172	58	51	109	72	84	156
Крымінал у эканоміцы	65	18	83	50	8	58	42	9	51
Інтэграцыя РБ і РФ	56	27	83	25	10	35	76	39	115
Спажывецкі рынак	22	17	39	64	14	78	36	14	50
ПЭК	33	15	48	27	14	40	16	13	29
Транспарт і сувязь	55	41	96	30	6	36	40	22	62
Інавацыі	33	32	65	7	15	22	30	19	49
Сацыяльная палітыка	55	61	116	70	50	120	30	48	78
Будаўніцтва	22	14	36	19	9	28	9	13	21
Прыватны бізнес	23	24	47	30	14	44	30	37	67
Маркетынг, паводзіны на рынку	59	38	97	30	9	39	49	19	68

Заўвага. Інф. – прысутнасць тэмы ў інфармацыйных публікацыях, ан. – асвятленне пытанняў у аналітычных і публіцыстычных матэрыялах.

Прыярытэт тэм дзяржаўнага рэгулявання, падаткаў, прамысловасці ўласцівы для ўсіх трох газет. Толькі ў «Звяздзе» на першым месцы – сацыяльная палітыка. У «Советской Белоруссии» найбольш значна прысутнічае тэма інтэграцыі з РФ. Калі ў «Рэспубліцы» і «Звяздзе» аграрная тэма на 4-м месцы, то ў «СБ» назіраецца падкрэсленая накіраванасць на гарадскога чытача. «Звязда», на наш погляд, захоўвае арыентацыю на масавага чытача больш паслядоўна і імкнецца быць яму карыснай падчас фарміравання паводзін на рынку. Яна змяшчае прагматычную інфармацыю па тэмах «спажывецкі рынак» і «фінансы». У «СБ» тэма фінансаў больш звязана з грашова-крэдытнай палітыкай дзяржавы, з фінансавымі ўмовамі існавання прадпрыемстваў. Значнасць тэмы «маркетынг, паводзіны на рынку» ў «Рэспубліцы» звязана з накіраванасцю на запыты кіраўнічага персаналу дзяржаўных прадпрыемстваў і ўстаноў, а таксама прадпрымальнікаў. Невыпадкова яна і рэкламуецца як «газета для тых, хто прымае рашэнні». Цалкам адышла на другі план «знакавая» ў 1999 г. тэма крыміналу ў эканоміцы. Вельмі мала ўсе тры газеты пішуць пра будаўніцтва (2–3 % зваротаў), прытым што гэта – адзін з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі. Павялічылася (але паранейшаму неадэкватна малая) увага да тэмы прыватнага бізнесу.

Узнікае пытанне: як выбар прыярытэтаў у тэматыцы звязаны з наяўнасцю планавання ў рэдакцыі? Пэўна, паміж гэтымі працэсамі сувязь не настолькі прамая, як падаецца. Наяўнасць альбо адсутнасць планавання можа толькі зацвердзіць тэматычныя прыярытэты рэдакцыі альбо аслабіць іх устойлівасць. Дарэчы, праведзены намі аналіз для рэдакцый, дзе ёсць паслядоўная сістэма планавання, дазваляе кантраляваць адпаведнасць планаў рэальнаму зместу камунікацыі.

Няма сумненняў у тым, што тэматычныя прыярытэты цесна звязаны са структурай чытацкай аўдыторыі, але і самі СМІ маюць здольнасць праз наўмысна альбо стыхійна стварэння прыярытэты ў тэматыцы ўплываць на фарміраванне грамадскай думкі. Меркаванні могуць быць у некаторай ступені ўстойлівымі, але ў канчатковым выніку ўздзеянне прыводзіць да стварэння пэўнага ўзроўню свядомасці, да навязвання пэўных стэрэатыпаў, міфаў, культывацыі іх у масавай псіхалогіі. Грамадская думка няўстойлівая, яна мае ўласцівасць змяняцца пад уплывам вербальнага і невербальнага ўздзеяння ў працэсе камунікацыі. Толькі пры сістэматычным уздзеянні ці пры ўздзеянні эпизадным, але моцным, са значным, нават з шокавым, эфектам свядомасць чытача, грамадская свядомасць усёй аўдыторыі сапраўды змяняецца. Для перамен у свядомасці патрабуецца перш за ўсё неаднаразовасць уздзеяння, уключанасць у плынь, у кантэкст, сістэматычнае ўспрымання дыскурса.

Літаратура

- Барт Р. Мифологии. М., 2000. С. 264.
 Барт Р. Нулевая степень письма // От структурализма к постструктурализму. М., 2000 [а]. С. 63.
 Брэтон Ф., Пру С. Выбук камунікацыі. Мн., 1995. С. 177.
 Корконосенко С. Г. Печать, управление и самоуправление. Тула, 1992. С. 3–4.
 Психология толп. М., 1998. С. 160.

Паступіла ў рэдакцыю 18.10.2001.

Патрэбін Андрэй Уладзіміравіч – выкладчык факультэта журналістыкі, аспірант кафедры сацыялогіі журналістыкі факультэта журналістыкі. Навуковы кіраўнік – кандыдат філалагічных навук, дацэнт В.П. Вараб'ёў.



Т.Е. ЗЫЛЬ

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СТИЛЯ ПИСАТЕЛЯ В МЕТОДИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ И ЛИТЕРАТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ XVIII – XIX вв.

В статье изложена история проблемы изучения стиля писателя в трудах методистов прошлого и школьной практике XVIII–XIX вв. Здесь представлено многообразие методических приемов, обоснована эффективность их использования на уроках литературы. Эти приемы способствуют более глубокому пониманию учащимися идейно-художественного своеобразия произведений и в целом стиля автора.

The article deals with the problem of author's style in the works of method analysts of the past as well as in school practice of XVIII–XIX centuries. The variety of methods of teaching is represented here, efficiency of their use at the lessons of literature is justified. It is noted that these methods contribute to better understanding of the author's style and artistic peculiarities.

В последнее время в печати появилось много методических работ, в которых рассматриваются вопросы творческой индивидуальности писателя, что свидетельствует о возрастающем интересе к этой проблеме. Методика решительно освобождается от влияния вульгарно-социологических и формалистических теорий, уделяя все большее внимание изучению литературы как искусства слова в неповторимом многообразии творческих индивидуальностей. К сожалению, еще не все с необходимой ясностью осознают основные задачи, цели и направления такого изучения. В этом плане осмысление методического опыта прошлого проясняет многие вопросы, требующие решения. В методическом наследии имеется немало плодотворных идей, которые могут быть применены сегодня в школьной практике.

Художественная литература как учебный предмет в средней школе XVIII – начала XIX в. не изучалась. В учебных заведениях преподавалась наука о литературе, представленная в школьном курсе тремя словесными дисциплинами: риторикой, пиитикой и стилистикой (называвшейся «российским штилем»). Усвоение догматических правил, определенных эстетикой классицизма, способствовало обучению школьников правильному построению речи. В этом состояла главная цель названных дисциплин. Господствующее положение в учебном курсе занимала риторика, изучение которой преследовало задачу подготовить оратора. С учетом этой направленности авторы учебников М.В. Ломоносов («Краткое руководство к красноречию», 1748) и Н.Ф. Кошанский («Общая риторика», 1829) рекомендовали учащимся чтение отрывков из художественных текстов в качестве иллюстрации к изучаемым правилам. «Краткое руководство к красноречию» М.В. Ломоносова представляло собой своеобразную энциклопедию гуманитарных знаний. Учащиеся имели возможность познакомиться с произведениями античных поэтов и ораторов, философов и историков.

Чтение сочинений классиков и подражание им позволяли избежать излишнего теоретизирования при изучении материала, привлекали внимание

учащихся к конкретным примерам использования словесных конструкций, давали образцы логических рассуждений.

Прием стилизации, используемый на занятиях по риторике, по существу, был призван увидеть не столько индивидуальное в произведениях писателя, сколько характерное для того или иного жанра. В эпоху классицизма понятие стиля проступает лишь в самых общих очертаниях. Несмотря на то что творчество таких писателей, как Г.Р. Державин, Д.И. Фонвизин, сыграло в прояснении понятия индивидуально-художественного стиля очень важную роль, эта проблема в теории искусства классицизма не получила должного развития. Как пишет В.В. Виноградов, «...в поэтике и стилистике русского классицизма индивидуальный стиль произведения и само произведение как воплощение и выражение индивидуальной творческой личности еще не выступали как определяющие силы эстетического восприятия и художественной структуры. Стилистические приемы, образы, средства выражения, правила их комбинаций, нормы их применения и изменения рассматривались как качества идеальных образцов жанра, а не как продукты индивидуально-художественного творчества» (Виноградов 1961, 60). Несмотря на господствующее положение риторики среди учебных предметов, в практике школьного преподавания наблюдались плодотворные попытки более глубоко познакомить учащихся с художественными текстами. К примеру, Б.Я. Княжнин, будучи преподавателем кадетского корпуса, видел необходимость изучения словесности на основе анализа литературных текстов, включал в программу произведения современных авторов (например, «Письма русского путешественника» Н.М. Карамзина). В образцах аналитических разборов, приведенных в учебнике Княжниного «Отрывки из риторики», намечен очень важный для понимания стиля писателя аспект анализа – взаимообусловленность формы повествования и жанра. Автор дает пример сопоставления двух произведений на одной сюжетной основе, но различных по жанру и делает вывод о необходимости соответствия «рассказа» «вымыслу» (т. е. «замыслу»).

В ряде педагогических сочинений авторы отмечали необходимость изучения художественного текста как самоценного произведения искусства, когда и поэтическая лексика, и стихотворный размер связываются с идеей произведения, а уроки литературы становятся средством эстетического воспитания. Такой подход характеризует педагогические сочинения Н.И. Новикова. В статье «О эстетическом воспитании» автор рекомендует рассматривать языковое мастерство писателя в связи со своеобразием композиции, с развитием темы: «...взяв хорошие образцы как в прозе, так и в стихах, изъяснять в них темное, показывать связь и порядок мыслей, всякие красоты, особливо ж красоты выражения, присовокупляя к тому всегда правила, почти таким же образом, как стал бы изъяснять латинского писателя хороший учитель, разумеющий более, нежели один только язык. Сим образом ученик не только получит чувствование прекрасного, но приобретет также довольное число правил, кои, извлечены будучи из примеров, покажутся ему ясными, удобными и пристойными и по сей же причине глубже впечатлеются в его разуме» (цит. по: Хрестоматии 1956, 23). Превосходный образец такого анализа литературного произведения в единстве содержания и поэтической структуры дает А.Н. Радищев в своем «Памятнике дактилохореическому витязю» (литературный разбор «Телемахида» В.К. Тредиаковского). Радищев решительно выступил против схоластического преподавания литературы, отвергал «томные» (т. е. «скучные») предписания догматической риторики, обучавшей «тому, что более чувствовать должно, нежели твердить» (цит. по: Хрестоматии 1956, 366).

Борьба А.Н. Радищева со схоластической наукой нашла свое дальнейшее продолжение в трудах методистов XIX в. Среди идейных источников,

питавших творческую деятельность выдающихся методистов и литературных критиков последующих поколений, сочинения А.Н. Радищева занимают очень значительное место. Внимание к творческой индивидуальности автора характеризует методические искания М.М. Сперанского. Он впервые ввел в курс преподавания словесности элементы эстетики. Особый интерес представляет суждение этого деятеля культуры о слоге как единстве содержания и формы. М.М. Сперанский дает определение слога. «Мы согласимся в сем со всеми другими (в том, что выражение есть не что иное, как изъяснение мысли словами. — Т. 3.) и скажем, что слог есть связь многих выражений. А посему, сколько родов выражения, столько может быть родов слога» (цит. по: Хрестоматии 1956, 52). Таким образом, Сперанский отходит от традиционного учения о «трех штилях». Он дает пример сопоставительного анализа переводов оды французского поэта-классициста Ж.Б. Руссо «Счастье», выполненных М.В. Ломоносовым и А.П. Сумароковым. Главное для исследователя — индивидуально-стилистические совпадения с подлинником, различия и качество этих переложений, а не степень их соответствия идеальной норме.

Интерес к личностному характеру творчества писателя присущ таким авторам учебных пособий, как И.С. Рижский («Опыт риторики», 1805) и А.Ф. Мерзляков («Краткое начертание теории изящной словесности», 1822). Рижский в своей работе уделяет особое внимание формированию у школьников интереса к особенностям творчества писателя, к своеобразию его слога. С точки зрения педагога, при всем искусстве выражать свои мысли «...сверх сего внимательный читатель примечает еще в сочинениях одного рода нечто, им одним принадлежащее, в рассуждении самих мыслей, то есть их образа происхождения, их совершенств, размещения и связи» (Роткович 1953, 50, 312–313).

А.Ф. Мерзляков — талантливый педагог и литературный критик, преподававший одновременно в Московском университете и в Московском университетском пансионе. В своих работах он представил образцы литературного анализа произведений русских авторов: Ломоносова, Сумарокова, Державина и др. Мерзляков видел особенную ценность живого общения учеников на уроках литературы, постижения ими идеи художественного произведения на основе осмысления литературного текста. В своих работах по эстетике А.Ф. Мерзляков во многом вышел за пределы классицистической теории искусства в решении вопросов о взаимоотношении объективного и субъективного в творчестве поэта, о связи искусства и действительности.

К концу XVIII — началу XIX в. в школьной практике был сделан решительный шаг от догматического заучивания правил к изучению теории словесности на конкретных литературных примерах. В учебном курсе наряду с риторикой и пиитикой все большее внимание педагогов привлекают вопросы эстетики, истории поэзии. Иллюстративный материал занятий расширяется за счет новейших достижений отечественной литературы (Ломоносов, Державин, Сумароков, Княжнин).

«Практическая метода» преподавания, получившая широкое распространение в 40-х гг. XIX в., имеет истоки в работе лучших методистов XVIII в. Однако школа не была массовой, а труды методистов, издававшиеся небольшими тиражами, не могли обеспечить необходимую доступность их изучения педагогами. А между тем в начале XIX в. влияние литературы на культурную жизнь общества значительно расширяется. Учащихся привлекают произведения авторов-современников, не включенные в узкие рамки учебной программы (Фонвизин, Карамзин, Державин, Батюшков, Жуковский). Несомненно, что изменения в методике преподавания литературы обуславливались процессами, происходившими в литературе, и прежде всего — изживанием традиций классицизма в литературной теории и творческой практике.

С начала XIX в. намечается тенденция к индивидуализации стиля писателя. В поэтике предромантической и романтической литературы понятие «стиль писателя» предполагает «"органическое" единство художественной системы автора и произведения искусства» (Виноградов 1961, 63). Положительное влияние на совершенствование методики и практики преподавания литературы оказала методология В.Г. Белинского. Именно у него русские словесники получили первые уроки анализа художественного произведения в аспекте творческой индивидуальности автора. Критик разработал новые принципы анализа художественной литературы, вытекавшие из понимания ее природы, особенностей и значения. Белинский ввел в круг читательских интересов молодежи современных писателей: Тургенева, Григоровича, Тьерцена, Гончарова, Некрасова. По мнению критика, главное внимание в преподавании литературы надо уделять самому произведению. Белинский побуждался к тому, чтобы при анализе произведения возможно более сохранить его поэтическое звучание, неповторимую прелесть художественных образов и силу их эмоционального воздействия. В замечательных статьях об А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Н.В. Гоголе критик раскрывал индивидуальную сущность слога каждого из авторов, показывая многообразие стилей в русской литературе 30–40-х гг. XIX в. Говоря о слоге, В.Г. Белинский рассматривал его как «непосредственное, данное природою умение писателя употреблять слова в их настоящем значении, выражаясь кратко, высказываясь много, быть кратким во многословии и плодовитым в краткости, тесно сливать идею с формою и на все налагать оригинальную, самобытную печать своей личности, своего духа» (Белинский 1954, 5, 454). К сожалению, при жизни В.Г. Белинского его блестящие уроки анализа остались невостребованными в школьной практике, как и сами тексты произведений, к которым он обращался.

В 40–60-х гг. XIX в. методисты выступают убежденными сторонниками непосредственного знакомства учащихся с художественными произведениями, отвергая традиционный подход к изучению литературы, при котором школьникам давали теоретические сведения о литературе, иллюстрируя их отрывками из текстов. В методических теориях сторонников «литературного чтения» выявилось определенное несходство позиций, различное понимание задач чтения и анализа текста. В педагогических идеях нашла отражение полемика между реальной и эстетической критикой. Для сторонников эстетического направления ориентация на «вечные ценности» в искусстве, совершенство художественной формы были главными достоинствами литературных произведений. В «реальном методе» нашли выражение эстетические взгляды критиков-демократов. Принципы «реальной критики» ориентировали на выявление объективно-познавательной стороны содержания произведений, на использование их гуманистического потенциала в целях освободительного движения. Однако упреки в адрес «реалистов» о недооценке ими эстетических достоинств произведений, высказывавшиеся представителями эстетической критики, не всегда состоятельны.

Известно, что в статьях Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского наряду с принципиальной общественно-политической оценкой творчества писателя, наряду с углубленным анализом его мировоззрения, идейного содержания произведения представлен тонкий, развернутый анализ его формы. В критических статьях Н.А. Добролюбова приводится сопоставление стилей И.А. Гончарова и И.С. Тургенева («Что такое обломовщина?»), дается характеристика типа сюжета в «пьесах жизни» А.Н. Островского («Темное царство») и роли второстепенных лиц в «Грозе» («Луч света в темном царстве»). Н.Г. Чернышевский выступал против привычных штампов в оценке творчества писателя, считая, что только выявление индивидуальных особенностей поможет понять то новое, что вносит художник своими произве-

дениями в познание жизни и внутреннего мира человека. Н.Г. Чернышевский первым отметил особенность таланта Л.Н. Толстого – изображение «диалектики души» героев. В новейшей русской литературе, необходимость изучения которой отстаивали передовые методисты, наметилась тенденция к индивидуализации стиля писателя. Как считает В.В. Виноградов, «всё углубляющаяся с середины XIX века индивидуализация стиля обнаруживается в открытии и тончайшей разработке средств речевой экспрессии, экспрессивно-звуковой и жестикulatoryционной, а также мимической выразительности» (Виноградов 1961, 67). Влиянием критики, с одной стороны, и реального процесса, происходившего в новейшей русской литературе, – с другой, вызвано усилением внимания к вопросам индивидуального стиля писателя в трудах методистов.

Исследуя историю методики преподавания литературы в дореволюционной школе, В.В. Голубков выделяет (условно) в методической науке 40–60-х гг. XIX в. три направления: логико-стилистическое, образовательно-воспитательное и эстетическое (Голубков 1946). Рассмотрим, как осмыслилась проблема творческой индивидуальности писателя в школьном преподавании представителями каждого из этих направлений. Сторонники первого – разрабатывали методику логико-стилистического анализа текста, пропагандировали филологическое изучение литературы. Ф.И. Буслаев, известный русский ученый-филолог, профессор Московского университета, – автор первой научно построенной методики «О преподавании отечественного языка» (1844). Серьезным достижением методиста явилось обоснование в 40-х гг. XIX в. принципа практического изучения литературы. Ф.И. Буслаев первым высказал мысль о том, что методика должна быть ориентирована на личность ребенка и его возможности, он отметил отличие научных методов от учебной. Основой школьного курса словесности Буслаев считает непосредственное чтение, аналитический разбор произведений. Однако задачей изучения литературы он считает анализ слога писателя, т. е. допускает только «строгую филологическую критику», грамматический и стилистический разбор. Таким образом, конкретный методический разбор произведений в работе Ф.И. Буслаева сводился к анализу словаря и синтаксиса. «Филологическое чтение» игнорировало идейно-тематическое содержание произведений, и в этом заключалась его односторонность, ограничивающая возможности постижения художественного мира писателя. Продуктивной для дальнейшей разработки проблемы индивидуальности писателя в школьном изучении литературы является обоснованная Ф.И. Буслаевым идея истолкования произведений с привлечением высказываний самих авторов о своем творчестве. Методист дает образцы критических разборов текстов с использованием приемов, выявляющих своеобразие отбора и эстетического осмысления языковых средств в произведениях писателя. Это такие приемы, как сопоставление литературного произведения и исторического источника, произведений одного автора, переводов и подлинников. В дальнейшем вопросы, связанные с логико-стилистическим анализом художественных произведений, разрабатывались Л.И. Поливановым.

Педагоги, пропагандировавшие «воспитательное чтение» (термин Ц.П. Балталона), основой преподавания литературы считали идейно-художественный анализ (В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин). Книга В.И. Водовозова «Словесность в образцах и разборах» (1865) явилась одним из лучших пособий для учителей в дореволюционной школе. Методическая система педагога формировалась под влиянием революционно-демократической критики. В оценке произведения методистом на первый план выступает полнота освещения жизни писателем и глубина проникновения в нее. Существенно важным принципом анализа литературного произведения является

его связь с эпохой. Критические разборы художественных текстов включают подробный анализ их деталей, вплоть до отдельных элементов языка, причем язык и композиция неизменно раскрываются автором в их взаимосвязи и обусловленности идейно-тематическим содержанием произведения. Выявлению своеобразия писателей в методике В.И. Водовозова служит сопоставительный анализ произведений разных авторов по жанровому, языковому, идейно-тематическому принципу.

Таким образом, в 40–60-е гг. XIX в. «литературное чтение» как изучение художественных текстов самими учащимися утверждается в школьной практике. «Для нас словесность, – утверждал В.И. Стоюнин, – не наука, а литература, т. е. материал ее составляют литературные произведения, которые подлежат изучению и разбору» (цит. по: Хрестоматии 1956, 208).

В еще большей степени способствовала постижению своеобразия творчества художника слова «сравнительная методика» В.Я. Стоюнина. Как и В.И. Водовозов, он предлагал включить в школьную программу произведения с ярко выраженной воспитательной направленностью, но первостепенной задачей литературного образования считал формирование эстетических чувств учащихся и на их основе развитие нравственных и умственных сил («О преподавании русской литературы», 1864). В.Я. Стоюнин стремился раскрыть перед учениками содержание произведения во всей полноте его художественного воплощения. Объясняя характеры, методист предлагал сравнить изображение одного и того же характера у разных писателей (Стоюнин 1913, 77–90).

Сопоставляя сходные характеры у А.С. Пушкина в «Скупом рыцаре» (Барон) и Н.В. Гоголя в «Мертвых душах» (Плюшкин), методист проводит развернутое сравнение истоков их характеров и особенностей их проявления в зависимости от условий среды. Подробно анализируя происхождение чувств обоих героев, обусловленных временем и национальными особенностями быта, делается вывод о целесообразности выбора писателями нужной формы изложения (изложение драматическое – у Пушкина и от автора – у Гоголя). Таким образом, идейное содержание произведения благодаря сопоставительному анализу характеров героев глубоко воспринимается школьниками. В аналитических разборах В.Я. Стоюнин много внимания уделял форме литературного произведения. Рассматривая своеобразие композиции, языка, образов, педагог раскрывал обусловленность художественной формы содержанием. «Сравнительная методика» В.Я. Стоюнина, по сути, выводит на выяснение своеобразия стиля авторов, хотя проблема стилового анализа педагогом не ставилась. Проблема формирования эстетических чувств учащихся, рассматриваемая В.Я. Стоюниным, получает дальнейшее развитие в трудах сторонников эстетического направления (В.П. Острогорского, В.П. Шереметевского), заявившего о себе в 70–80-е гг. прошлого века. Методисты выступили в защиту эмоционального восприятия художественного произведения, рассматривали проблему воспитания культуры чтения. В.П. Острогорский связывал решение этой проблемы с повышением теоретической подготовки учащихся и с формированием у них личностного отношения к изучаемым произведениям.

Итак, в 40–60-е гг. XIX в. в методике определился поворот к изучению художественных произведений («литературное чтение»). Содержанием уроков словесности становится анализ текстов, обосновывается необходимость изучения литературы в связи с изучением языка, рассмотрения творчества писателя в связи с эпохой. Эта тенденция изучения художественных текстов получает дальнейшее развитие в трудах методистов 80-х гг. В их работах отмечается важная роль приемов сравнительного анализа для постижения идейно-художественного своеобразия произведений: сравнение литературного произведения с его историческим источником, переводов и

подлинников, изображения одного и того же характера у разных авторов, сопоставление произведений одного жанра. Предлагается использовать высказывания самих авторов о своих произведениях, раскрывающие своеобразие их видения мира. Названные приемы способствовали активному, сознательному усвоению литературы учащимися, разрушали сложившиеся стереотипы в преподавании, что позволило методистам определить задачу умственного развития школьников на уроках словесности. Однако на этом этапе решение ее не было осуществимо, так как методика не опиралась еще на психологию творчества и чтения.

Вопрос о выяснении природы художественного восприятия литературных произведений был поставлен в начале XX в. Ц.П. Балталоном. Он одним из первых применил в методике эксперимент в целях исследования читательских интересов школьников. Ученый рассматривал проблему формирования интереса к чтению как основную в преподавании, поэтому важными задачами аналитического разбора произведений считал цельность впечатления и возбуждение сильной работы мысли. В своих работах Ф.И. Буслаев, В.И. Водовозов, В.Я. Стоюнин, Л.И. Поливанов и другие развивали идеи изучения литературного произведения в единстве формы и содержания; произведения логико-стилистического анализа; формирования интереса у учащихся к творческой индивидуальности автора, осмысления стилистического своеобразия его творчества.

Таким образом, в трудах выдающихся ученых методистов и педагогов прошлого содержится много плодотворных идей, использование которых может способствовать реформированию школьного литературного образования.

Литература

- Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: В 13 т. / Гл. ред. Н.Ф. Бельчиков. М., 1954. Т. 5.
 Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М., 1961.
 Голубков В.В. Преподавание литературы в дореволюционной средней школе. М.; Л., 1946.
 Хрестоматия по истории методики преподавания литературы / Сост. Я.А. Роткович. М., 1956.
 Роткович Я.А. Очерки по истории преподавания литературы в русской школе М., 1953. Вып. 50.
 Стоюнин В.Я. О преподавании русской литературы. 8-е изд. СПб., 1913.

Поступила в редакцию 04.07.2001.

Зыль Татьяна Евгеньевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы.

Л.В. ХВЕДЧЕНЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРЫ В СОДЕРЖАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье дается обоснование включения компонентов культуры в теоретический аппарат методики, в частности, в содержание иноязычного образования. Подчеркивается, что погружение в культуру других народов позволяет глубже постичь их национальное своеобразие и систему духовных ценностей, что, в свою очередь, способствует сближению народов и решению глобальных проблем человечества.

The article offers justification for including the elements of culture into methodology of foreign language teaching and its content in particular. It is stressed that an insight into the culture of other peoples promotes a better understanding of their national identity and a system of spiritual values. This, in its turn, contributes to bringing nations together and solving some global problems of mankind.

Культурологическое направление в методике преподавания иностранных языков (ИЯ) появилось как ответ на поставленные обществом и реализуемые через систему образования задачи формирования личности обучаемо-

го, способной к межкультурной коммуникации. В рамках этого направления сформировался лингвокультурный (В.П. Фурманова) или социокультурный (В.В. Сафонова) подходы, предполагающие соизучение языка как средства общения и культуры, носителем которой данный язык является.

Попытки интеграции компонентов культуры в содержание иноязычного образования не новы. Они предпринимались представителями различных методических направлений, как в нашей стране, так и за рубежом. Особое место в разработке культурологического направления отводится создателям так называемого аудиолингвального метода Ч. Фризу и Р. Ладо. Именно они высказали чрезвычайно плодотворную мысль о том, что овладение смысловым содержанием должно происходить в том виде, в котором оно представлено в культуре, где говорят на этом языке (Ладо 1967, 52–84). «Язык можно понять только тогда, когда понимается нечто большее, чем просто язык», – вторил им немецкий ученый Г. Херманн (Hermann 1986, 20). Это «нечто большее» обозначается В. Фейгсом как знание мира, фоновые знания, ассоциируемые всеми последующими исследователями с культурой страны изучаемого языка.

Что же несет в себе культура в плане формирования языковой личности и каковы предпосылки включения ее в теоретический аппарат методики? Наиболее очевидными и бесспорными аргументами являются те, которые вытекают из самой сущности и внутренней организации языка: 1) его социальной природы, благодаря чему язык способен включать в себя всю совокупность знаний и представлений об окружающем мире; 2) способности языка отражать через мир бытия мир культуры, воплотивший всю систему материальных и духовных ценностей, которые были созданы обществом в процессе его исторического развития.

Оба элемента одинаково важны в формировании методологической основы культурологических исследований, так как, выступая в тесном взаимодействии с языком, формируют триаду **Язык – Культура – Общество**. Отношение компонентов этой триады является предметом исследования в философии, лингвистике, социологии, антропологии и других науках, изучающих их каждая со своих позиций. В образовательной сфере сложилось свое представление о соотношении названных элементов. Ключевым считается понятие Культуры. Оно оказывает важнейшее влияние на развитие научного поиска, поэтому остановимся на определении этого понятия более подробно.

Термин «культура» в современном понимании появился в Европе в работах мыслителей XVIII в. Монтескье, Вико и Хардера и до сих пор несет в себе чрезвычайно большую семантическую нагрузку. Таким же широким является спектр мировоззренческих и методологических позиций на теоретические проблемы культуры, особенно в зарубежной науке, традиционно отличающейся плюрализмом подходов.

Многообразие взглядов на понимание культуры можно обобщить в виде нескольких наиболее устоявшихся концепций. Среди них: *технологическая* (М.Я. Ковальзон, Ю.М. Лотман, И.Л. Савранский), которая так себя и определяет; *аксиологическая* (Н.И. Кнященко, Л.И. Новиков, Е.И. Пассов и др.), рассматривающая культуру как воплощение ценностей и не имеющая ничего общего с технологической, а также *деятельностная* (М.С. Коган, Ю.А. Жданов, Э.С. Маркарян). В рамках аксиологической концепции получило широкое распространение определение культуры Е.И. Пассова, понимающего ее как систему духовных ценностей, воплощенных или не воплощенных материально, которые созданы и накоплены обществом во всех сферах бытия – от быта до философии (Пассов 1998, 12). В нашем сознании, обыденном и научном, под понятием духовных ценностей закрепился круг явлений, относящихся к сфере науки, искусства, морали, права, политики, образования, религии, средств массовой информации.

Культурологические размышления М.С. Когана привели к формированию более широкого понятия о культуре, которое вытекает из общего философского представления о строении бытия и рассмотрения культуры в единстве с человеком и его деятельностью (Коган 1991, 141). По его мнению, культура есть специфический способ человеческой деятельности, в результате которой создается новый сверхприродный, предметный мир как отражение материального, духовного и художественного бытия человека. Исходный пункт культуры – человек как субъект деятельности. Любая деятельность должна служить удовлетворению потребностей человека, реализации его способностей и одновременно способствовать прогрессивному развитию человечества. Позицию автора мы считаем плодотворной, так как, с одной стороны, отражает деятельностный характер культуры: и культура, и образование (как один из ее элементов) представляют собой прежде всего деятельность (процесс, способ) в области материального производства и потребления культурных ценностей. Со второй стороны, заслугой М.С. Когана является рассмотрение культуры через призму функционирования и развития личности, что определяет творческий характер человеческой деятельности. Включение человека как субъекта деятельности в аппарат культуры, а также признание творческо-деятельностного характера последней позволяют рассматривать человеческие отношения одним из ее элементов, а саму культуру – средством приобщения к образу жизнедеятельности общества. Достижения человека в области организации общественных отношений также включаются автором в определение культуры и являются важным элементом методического анализа.

Таким образом, содержание культуры претерпевает со сменой научных парадигм значительные изменения, что связано главным образом с новым пониманием роли человека в формировании картины мира и ее представлением как единого и неделимого пространства (в т. ч. образовательного). Данную идею довольно емко выразила Т.С. Георгиева: «Создаваемое людьми предметное богатство общества есть лишь внешняя форма культуры. Ее действительным содержанием оказывается развитие самого человека как общественного существа, т. е. развитие всей совокупности образующих его отношений, следовательно, способностей и потребностей. И если цивилизация является фиксацией уровня технологического развития, то культура является показателем человеческого в человеке, мерилом его развития как общественного существа» (Георгиева 1992, 6).

Та или иная трактовка культуры по-разному определяет ее связь с наукой, в том числе методикой преподавания иностранных языков. Если трактовать культуру как интегральный способ человеческой деятельности, обладающий творческим началом (Н.С. Злобин, Л.Н. Коган, Э.С. Маркарян, Ю.А. Жданов), и если видеть в ней сферу духовного производства, то наука как форма интеллектуального производства окажется важнейшим компонентом культуры. Она реализует себя в сфере культуры, которая включается в аппарат науки в качестве источника и предмета исследований. Но если рассматривать культуру как технологию, т. е. систему знаковых средств хранения и передачи социальной информации, то наука как система объективного знания окажется вне культуры по той простой причине, что природа ее не знаковая, а информационная (Коган 1991, 145). Исходя из сказанного, мы видим теоретическую ценность понятия «культура» в такой формулировке, которая объединяет в себе все внешне разрозненные формы деятельности людей, включая и процессуальную, и предметно-продуктивную, и духовно-информационную. Притом человек как деятельное существо сам рассматривается не только как объект биологический, но и культурологический, как проявление «сверхприродного начала», противопоставленного «натуре» благодаря способности к сознательно направленной, продуктив-

ной, творческой деятельности. В силу той большой роли, которая отводится человеку в создании культурных ценностей, его можно считать главным субъектом механизма общественного производства, именуемого культурой. Таким образом, понимание культуры как интегративной сферы, объединяющей материальные и духовные продукты человеческой деятельности, логично включает в себя и понятие самого культурогенного субъекта – человека, творящего культуру и творимого ею.

Представляется, что в свете гуманизации всех процессов общественной жизни именно такое понимание культуры может служить методологическим ориентиром для изучения и раскрытия проблем взаимосвязи культуры и образования. Исходя из сказанного, сущностное представление о культуре можно вслед за Т.С. Георгиевой сформулировать следующим образом: «Культура – это прогрессирующее самопроизводство общественного человека. Образование в таком случае является важнейшей технологией, содержанием и формой такого самопроизводства общественного человека» (Георгиева 1992, 5). Содержание образования должно соответствовать определенному пониманию культуры и преломлять это понимание в основных методических категориях и направлениях развития той или иной науки.

Признание общественной природы человека, соединяющего в себе двойственные законы, природные и социальные, и особенно признание человека субъектом деятельности, выводит культуру на новый уровень системного анализа бытия. В данном случае речь идет не о «печати культурогенного субъекта» в предметной человеческой деятельности (Коган 1991, 147), а о включении человека разумного (*homo sapiens*) в аппарат культуры и соответственно в аппарат методического анализа. Исходя из сказанного, известное соотношение **Язык – Культура – Общество** позволяет нам дополнить его еще одним компонентом – **Человек**. Соотношение **Культура – Человек** исходит из признания последнего оригинальным образованием общественной жизни, вторичным над природой, являющимся творцом продуктов культурной деятельности, а также продуктом культуры. Такая позиция согласуется также с философскими взглядами на человека как существо, детерминированное прежде всего культурой и историей, а не природой (Фрумкина 1995, 102), а также со сложившейся в психологии и социолингвистике антропоцентричной парадигмой научного анализа, признающей человека главным субъектом образовательной системы.

Понимание связи человека и культуры важно как для теории, так и для практики. Но для реализации тех действительно грандиозных возможностей, которые есть в культуре, с целью развития нового мышления, новой гуманистической психологии теория культуры должна более конкретно представить реальные формы ее связи не только с обществом, но и с человеком, в частности, должны учитываться возможности культуры в процессах формирования личности и совершенствования человеческих отношений.

Что касается языковой личности и языкового образования, то отметим, что, живя на протяжении всей своей жизни в мире Культуры и формируясь через нее, человек вербализует эту культуру средствами языка. Однако язык отражает всю совокупность знаний и представлений о мире не зеркальным образом, а преломляя их через индивидуальное сознание и опыт. В этом смысле язык есть не простое средство вербализации материального мира, а сложная система переосмысления рационального знания через эмоционально-личностное восприятие. Это прежде всего средство формирования личностной картины мира, «очеловеченной» и принятой умом, сердцем, душой, всей внутренней сущностью индивида. «Очеловеченный» мир – уже не просто мир бытия, а мир культуры, воплотивший в себе всю систему индивидуально освоенных ценностей, созданных человечеством и переосмысленных через свое, национальное.

Такое понимание соотношения языка, культуры и личности акцентирует внимание на более тщательном исследовании роли человеческого фактора в языке. Сама постановка вопроса может показаться достаточно тривиальной – все в языке создано человеком, да и сам язык существует для человека. Фактически мы имеем дело с проблемами невероятной сложности, но не из-за сложности самого понятия языка и формируемой с его помощью языковой картины мира, а по причине многогранности самого человека, наличия в его природе разных начал. Когда мы пытаемся выделить круг языковых явлений, зависящих от человека, мы имеем в виду по крайней мере три разных плана его существования: биологический, социальный и личностный /индивидуальный/ (Человеческий фактор 1991, 16). Первые два плана рассматривания человека являются традиционными, но третий, связанный с пониманием его как конкретной, уникальной личности, раскрывает новые возможности и новые направления в вечной тематике «язык и человек». Роль человеческой личности, индивидуальности с ее неповторимыми уникальными способностями относится к числу субъективных факторов в рече-производстве. Ведь в процессе порождения живой речи мощно проявляются силы, исходящие от самого говорящего, его оценки ситуации, его интеллекта, развития, принадлежности к тому или иному социальному слою, национальному сообществу и т. п.

Проведя параллель между языком и культурой через структуру личности, Е.И. Пассов отмечает, что, так же как и язык, «...всякая культура национальна по содержанию и индивидуальна (личностна) по способу присвоения, то есть культура – это индивидуально освоенные духовные ценности» (Пассов 1998, 14). Национально-культурная специфика проявляется на фоне общечеловеческих, присущих всем народам ценностей. Если для наглядности представить всю совокупность культур (например, христианскую, буддийскую, исламскую и т. д.) в виде пересекающихся эллипсов (мировая культура), то образующееся в центре пространство включает в себя универсальное содержание культуры, ее общечеловеческие ценности, понимаемые как система устойчивых взглядов, принятых человечеством (рисунк). Конечные полюсы эллипсов представляют собой национальные элементы культуры, отражающие неповторимое своеобразие этносов и формирующие «национальную картину мира». Изучение национальных элементов культуры основывается на понимании и признании общечеловеческих культурных ценностей, составляющих фундамент развития любой культуры в ее языковом выражении.

Взаимосвязь языка и культуры проявляется и в общности их функций. С образовательных позиций функциями языка являются *познавательная* (язык как средство познания), *аккумулятивная* (язык как хранитель национальной культуры), *коммуникативная* (язык как орудие общения, выразитель эмоциональных отношений), *личностнообразующая* (язык как инструмент развития и воспитания) (Пассов 1998, 17). Всякая культура, в том числе иноязычная, также усваивается в форме четырех элементов: *познавательного* (культурологического), *развивающего* (психологического), *воспитательного* (педагогического) и *учебного* (социального) (Пассов 1998, 45). Для полноты картины отметим, что образование также четырехаспектно. Это всегда *познание* как высшая форма отражения действительности, *развитие*, *воспитание* как приобщение к общественной культуре, формирование направленности личности и *учение* как процесс овладения речевыми умениями. Как известно, познание, умение и развитие суть звенья одной цепи – формирования личности как идеала общества. Учение – практическая цель образования.

Логично предположить, что, поскольку язык есть условие и продукт человеческой культуры, связывающий нас с обществом, всякое изучение язы-

ка неизбежно имеет своим предметом культуру. Иными словами, содержанием иноязычного образования становится иноязычная культура, под которой понимается «все то, что способен принести учащимся процесс обучения ИЯ в учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах» (Пассов 1998, 45).



Схема взаимодействия национальных культур

условия для полифонического культурного мышления. «Погружение» в культуру других народов позволяет глубже постичь их национальное своеобразие и систему нормативных ценностей, на основе усвоения которых происходит духовное совершенствование самого обучаемого, реализуется его главная цель – развитие, самоактуализация. При интеграции в иную культуру воспитывается терпимость к инакомыслию, плюрализму мнений, формируется понимание единства и целостности окружающего мира, что вполне согласуется с идеей конвергенции искусственно разобщенных социумов (Гершунский 1997). В этом смысле иностранный язык в отечественном образовании становится важным условием интеграции молодого поколения в многокультурное европейское сообщество, оказывает влияние на предпочтения в выборе жизненно важных ценностей, способствует самоопределению, оказывает влияние на образ жизни, сохранение нравов или изменение обычаев (Булыгина 1997, 44). Иначе говоря, ИЯ располагает достаточными возможностями для воспитания и развития личности.

Все сказанное о взаимосвязи языка и культуры является основанием и теоретической предпосылкой включения элементов культуры в содержание иноязычного образования. Один из основателей культурологического подхода В.П. Фурманова в своей монографии «Межкультурная коммуникация и лингвокультуроведение в теории и практике обучения иностранных языкам» дает свое обоснование включения культуры в аппарат методики преподавания ИЯ, основанное на теоретических построениях смежных наук (лингвистики, психолингвистики, этнолингвистики, философии). Анализируя возможности их вклада в социокультурное развитие личности средствами ИЯ, автор приходит к выводу, что все питающие методику науки также несут в себе культурологический и личностноформирующий потенциал, что еще раз подчеркивает изначальный тезис о том, что культура может и должна быть компонентом содержания иноязычного образования (Фурманова 1994, 18–32).

Содержательный аспект иноязычного образования, сконструированный на основе теоретических положений социо-, психо- и этнопсихолингвистики, предполагает два основных подхода к изучению иноязычной культуры: филологический (лингвистический) и социологический (экстралингвистиче-

ский). Филологический подход предусматривает изучение культуры через слово путем экспликации национально-культурных индикаторов: маркированных слов и словесных комплексов, выступающих в качестве источника культурных фоновых знаний. Социологический подход отражает социальный характер языка и, как показывают данные смежных с методикой наук, ориентирует на изучение культуры путем формирования фоновых знаний через изучение социальной организации общества, а также повседневной культуры самого носителя языка (Фурманова 1994, 31). Именно такой подход закладывает основы языкового и когнитивного развития личности в диалоге культур.

Приведенные аргументы в пользу соизучения языка и культуры определили одну из стратегических линий современного языкового образования – его культурологический характер и социокультурный подход как один из вариантов изучения. Последний охватывает важнейшие аспекты содержания иноязычного образования: лингвистический и социологический, включающий человека как субъекта культуры. Он замыкает все аспекты содержания иноязычного образования в систему, стержневым элементом которой является межкультурный (социокультурный) компонент.

Литература

- Булыгина М. В. Педагогические условия развития культурологической компетенции при обучении иностранному языку: Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Екатеринбург, 1997.
- Георгиева Т. С. Образование как сфера культуры: пути обновления // Информационно-технологическая революция и подготовка кадров в США. М., 1992.
- Гершунский Б. С. Философия образования для XXI века (в поисках практико-ориентированных образовательных концепций). М., 1997.
- Коган М. С. Системный подход и гуманитарное знание. СПб., 1991.
- Костомаров В. Г., Прохоров Ю. Е., Чернявская Т. Н. Язык и культура // Новое в теории и практике лингвострановедения: Доклад на VIII конгрессе МАПРЯЛ. Регенсбург, 1994.
- Ладо Р. Обучение иностранным языкам // Методика преподавания иностранных языков за рубежом: Сб. ст. М., 1967.
- Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности в диалоге культур. Липецк, 1998.
- Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи / Отв. ред. Е. С. Кубрякова. М., 1991.
- Фрумкина Р. М. Имеет ли лингвистика отношение к теории познания // Язык и наука конца XX века / Под ред. Ю. С. Степанова М., 1995.
- Фурманова В. П. Основы социокультурного обучения иностранному языку. М., 1994.
- Hermann G. Humanistic Approaches: An Empirical View. London, 1986.

Поступила в редакцию 04.05.2001.

Хведченя Людмила Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой английского языка гуманитарных факультетов.

Рэцэнзіі



Bibliografia językosławstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992–1994 / Pod redakcją Zofii Rudnik-Karwatowej. Opracowali: Hanna Karpinska, Zofia Rudnik-Karwatowa, Zenon Mikos przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Slawistyki, Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1999. 749, [3] s.

У 1995 г. Інстытут славістыкі Польскай акадэміі навук, Варшаўскае навуковае таварыства і Славістычны выдавецкі цэнтр ПАН распачалі выданне, якое было адначасова і новай бібліяграфічнай серыяй і працягам знакамітай міжнароднай бібліяграфіі па славянскаму мовазнаўству – "Przeglądu bibliograficznego językosławstwa slawistycznego". На пачатку сваёй амаль 100-гадовай гісторыі "Przegląd" з'явіўся як раздзел у кракаўскім "Roczniku Slawistycznym" (у 1908 г.) і налічваў 245 першакрыніц. З цягам часу "Przegląd bibliograficzny" вырас з раздзела "Rocznika Slawistycznego" ў самастойную другую частку штогодніка, якая выдавалася асобным тыражом. У гады сацыяльных крызісаў выданне звяртывалася, праца прыпынялася, але потым зноў ажывала. У 1993–1994 гг. выданне цалкам адасобілася ад "Rocznika", з 1995 г. (бібліяграфія за 1992 г.) яно набыло новы фармат, рэзка ўзрасло яго камп'ютэрна-інфармацыйнае забеспячэнне. Бібліяграфія за 1993 г. (з дапаўненнямі за 1992 г.) выйшла ў дзвюх кнігах (у 1996 г.); за 1994 і 1995 гг. (таксама з дапаўненнямі за 1992–1994 гг.) – зноў у аднатомніках (адпаведна 1997 г. і 1999 г.).

Як бачна, у апошнім выпуску непазбежны разрыў паміж годам з'яўлення публікацый і годам выхаду з друку іх бібліяграфічнага апісання павялічыўся на год. Трывожны сімptom і ўскоснае сведчанне аб тым, наколькі гэта складаная і адказная праца – год за годам выпускаець бібліяграфічныя адлюстраванні таго інфармацыйнага патоку, які штогод пашыраецца. І пры гэтым разумець, што менавіта такія выданні – іх прафесійны ўзровень, іх паўната і дакладнасць, іх дызайн і паліграфія, у тым ліку папера і вокладка, – ствараюць аўтарытэт айчынай навуцы і культуры.

Традыцыя, якую працягвае разглядаемая варшаўская бібліяграфія, займае асаблівае месца ў славістыцы: гэта поўнае апісанне славянскіх прац, выкананых на ўсіх славянскіх і неславянскіх мовах. Па шырыні ахопу матэрыялу выданне не мае роўных у славістыцы. У большасці славянскіх краін самыя

поўныя лінгваславістычныя бібліяграфіі апісваюць працы, прысвечаныя "сваёй" мове, пры гэтым часам без абмежаванняў, звязаных з мовамі і геаграфіяй выданняў (так будуецца, напрыклад, штогадовыя бібліяграфіі "Slovenistika v letu 19...", якія выходзяць з 1978 г. у люблянскім часопісе "Jezik in slovstvo"), часам – з абмежаваннямі (як, у прыватнасці, у двух выпусках "Беларускага мовазнаўства" (выданні 1980 г. і 1993 г.): тут улічваюцца працы па беларусістыцы за 20 гадоў, толькі напісаныя на трох мовах (беларускай, рускай і ўкраінскай) і надрукаваныя ў СССР. Бібліяграфіі, якія складаліся ў Кіеве і Маскве, па аб'екту апісання не абмяжоўваліся адной мовай, але былі абмежаваны геаграфічна: бібліяграфіі "Слов'янська філологія на Україні: (1968–1976 pp.)" (Київ, 1978) і бібліяграфічныя штогоднікі "Філологічні науки на Україні" (Київ, 1979; 1980; 1981) сістэматызавалі бібліяграфію на ўсіх славянскіх і неславянскіх мовах, але толькі ва ўкраінскіх выданнях; па-свойму абмежаваны быў падыход і ў маскоўскіх бібліяграфіях "Славянское языкознание: Указатель литературы, изданной в СССР" (1963, 1973, 1980–1981, 1985, 1988). Гэтыя дадзеныя тычацца прац па ўсіх славянскіх мовах, але выдадзеных толькі ў адной дзяржаве – СССР. Замежныя выданні маглі трапіць у гэтую бібліяграфію ў тым выпадку, калі ў СССР на іх выйшла рэцэнзія. Бібліяграфічнай крыніцай па замежнай славістыцы быў штомесячны бюлетэнь "Иностранная литература по общественным наукам: Языкознание", які выходзіў з 1953 г. у ІНІ па грамадскіх навуках АН СССР, аднак быў абмежаваны толькі літаратурай, што трапляла ў бібліятэкі СССР.

Рэцэнзуемае варшаўскае выданне аб'ядноўвае лінгвістычную славістыку паверх бар'ераў. Па складу моў-аб'ектаў, што даследуюцца ў працах, уключаных у бібліяграфію, яна мае ўсеславянскі характар, а па складу метамоў (на якіх напісаны гэтыя працы) і па іх геаграфіі выданне выходзіць далёка за межы Слав'іі. Краіна, якая штогод выдае гэтакі ўніверсальны славістычны даведнік, адразу заяўляе пра сябе як пра лідэра славянзнаўства. І зразумела, гаворка тут не ідзе аб выпадковым збегу акалічнасцей, бо лідэрства Польшчы ў еўрапейскай славістыцы пацвярджаецца і іншымі дадзенымі, таксама і бібліяграфічнымі: так, у міжнароднай славістычнай штомесячнай бібліяграфіі "Current Slavonic Contents", якую складаюць здымкі старонак са зместам славістычных часопісаў і збор-

нікаў розных краін, самыя шматлікія спісы адлюстраваных крыніц – гэта пералікі польскіх выданняў.

Па складу супрацоўнікаў рэцэнзуемая варшаўская бібліяграфія таксама выходзіць на міжнародны ўзровень: у праекце ўдзельнічаюць славісты з розных славянскіх і неславянскіх краін (іх прозвішчы названы адрозна пасля тытульнага ліста), з Беларусі, у прыватнасці, – Генадзь Цыхун і Алеся Літвіноўская. Зразумела, што стварэнне інтэрнацыянальнага калектыву бібліяграфу-карэспандэнтаў патрабавала ад ініцыятараў і рэдактараў выдання значных арганізацыйных намаганняў, але ў гэтым і была кадравая перадамова міжнароднай паўнаты бібліяграфіі. Шкада толькі, што арганізацыйныя высілкі не дасягнулі берагоў ЗША і Вялікабрытаніі.

У даведніку за 1995 г. бібліяграфія сістэматызавана па 10 асноўных частках: 1) "Агульнаславянская частка"; 2) "Старацаркоўнаславянская мова"; 3) "Балгарска-македонская група"; 4) "Сербска-харвацкая група"; 5) "Славенская мова"; 6) "Чэшска-славацкая група"; 7) "Сербалужыцкая група"; 8) "Ляхіцкая група" (з двух падраздзелаў: "Палабская мова" і "Польская мова"); 9) "Усходнеславянская група" (*Grupa ruska*), у якой чатыры падраздзелы: "Старажытнаруская мова"; "Руская мова"; "Беларуская мова" і "Украінская мова"; 10) "Славянска-неславянская частка", у якой тры падраздзелы: "Уплыў славянскіх моў на неславянскія"; "Уплыў неславянскіх моў на славянскія"; "Кантрастыўныя даследаванні". Кожная з асноўных частак мае ўнутраныя падраздзелы, і глыбіня далейшага падзелу часам дасягае пяці ўзроўняў.

У апісанне кожнай пазіцыі ўваходзяць: прозвішча, імя і імя па бацьку (калі гэта імя ёсць у першакрыніцы) у лацінскай транслітэрацыі (з гэтых форм потым складаецца алфавітны спіс аўтараў, пададзены ў канцы тома); назва працы на мове і ў графіцы арыгінала; прозвішча аўтара з імем (або з ініцыяламі) у тым выглядзе, у якім яны прыводзяцца ў першакрыніцы; для артыкулаў – скарачанае назва часопіса ці зборніка, у якіх яны надрукаваны (разам з выходнымі дадзенымі і старонкамі); указанне на мову апісанай працы; кароткая анатацыя працы, а напрыканцы замест асабістага подпісу – скарачанае прозвішча бібліяграфа, які склаў дадзенае канкрэтнае апісанне і сваім імем адказвае за яго надзейнасць. Пры гэтым, як падкрэслівае ў прадмове да бібліяграфіі Зоф'я Руднік-Карватова, усе апісанні складаліся толькі *de visu*. А іх у выпуску за 1995 г. – 6534.

У сукупнасці гэтыя тысячы бібліяграфічных пазіцый ствараюць выразную панараму сучаснага славянскага мовазнаўства, у якой адлюстроўваецца не толькі "ўдзельная вага" асобных напрамкаў і тэм, але і "хто ёсць хто" ў славістыцы. Акрамя звычайнага для бібліяграфіі аўтарскага алфавітнага паказальніка, у варшаўскім выданні ёсць яшчэ паказальнік уласных імён, якія ўваходзяць у назвы прац першакрыніц альбо ў іх анатацыі. Гэты паказальнік сістэматызацыі бібліяграфіі (назва – "Index imnych osob"), па-першае, кампенсуе адсутнасць у падраздзелах "Мова аўтара" прозвішчаў вывучаемых пісьменнікаў або дзеячаў культуры; паводле алфавіта (што звычайна робіцца ў нашых даведніках); па-

другое, будучы зводкай прадстаўнічых упамінаванняў, "Index imnych osob" дазваляе ўбачыць прыярытэтычныя імёны ў славістыцы і градацыі ў прыярытэтах.

Прыклад чатыры імёны, якія найчасцей сустраліся ў назвах мовазнаўчых прац і звязаны перш за ўсё з беларускай культурай (у дужках паказана сумарная колькасць адпаведных крыніц за тры гады – 1993–1995): Францішак Скарына (43), Якуб Колас (17), Кірыла Тураўскі (16), Янка Купала (6). Назаву імёны беларускіх моваведаў з найбольшай колькасцю прац, што ўвайшлі ў варшаўскую бібліяграфію за тры гады: А.Я. Супрун (30), П.У. Сцяцко (25), М.Р. Прыгодзіч (18). Вядома, кожны з названых аўтараў за адпаведныя гады надрукаваў значна больш, але тыя лічбы, якія амаль аўтаматычна паўстаюць з адабранай міжнароднай бібліяграфіі, – якраз і ёсць "казфіцыенты" вядомасці ў міжнароднай славістыцы.

Пры сучаснай перанасямнасці інфармацыі яе бібліяграфічная кампрэсія набывае ўсё большую каштоўнасць – не толькі як магчымасць бібліяграфічнага пошуку і даведак, але і як канцэнтраваная база аб'ектывных дадзеных аб налісаным за пэўны час. Канцэнтраваныя і прадстаўнічыя штогоднікі варшаўскай міжнароднай бібліяграфіі з'яўляюцца надзейным летапісам сучаснага славянскага мовазнаўства.

Н.Б. Мячкоўская,

доктар філалагічных навук, прафесар

С.Л. Гаранін. Шляхамі даўніх вандраванняў: Гістарычна-тэарэтычныя нарысы развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII–XVI ст. Мн.: Тэхналогія, 1999. 203 с.

Сярод навуковай літаратуры па праблемах айчынай медыявістыкі вылучаецца маанаграфія С.Л. Гараніна "Шляхамі даўніх вандраванняў", у якой на шырокім гістарычным фоне разглядаецца генезіс жанру хаджэнняў на Беларусі ў XII–XVI ст., з сучасных метадалагічных пазіцый асэнсоўваюцца хаджэнні ў мастацкай сістэме сярэднявечча. Да гэтага часу ў беларускім літаратуразнаўстве творы паломніцкай літаратуры не былі прадметам спецыяльнага даследавання.

Аўтар глыбока даследуе сацыяльныя і духоўныя перадумовы ўзнікнення жанру хаджэння, паказвае ролю вусна-паэтычных і літаратурных традыцый у станаўленні паломніцкай літаратуры. Даследчык слухна адзначае, што часам меркаванні вандрунікаў ці паслоў адыгрывалі немалаважную ролю ў вызначэнні лёсу народа і дзяржавы. Зсяроджана ўвага на дзейнасці Іаана Полацкага, які быў вельмі дасведчаным чалавекам не толькі ў медыцыне і рыторыцы, але і ў міжнароднай палітыцы. На добрым навуковым грунце апісваецца дзейнасць першых усходнеславянскіх паломнікаў – наўгародскага ігумена Данііла, полацкай ігуменні Ефрасініі, Дабрыні Ядрэйкавіча і інш. Пераканаўча гучыць вывад даследчыка адносна таго, што "актывізацыя паломніцкага руху выпадае на канец XI–XII ст., г. зн. на той перыяд, калі ў Еўропе вялася актыўная падрыхтоўка да

крыжовых паходаў, а пасля разгарнуліся і самі войны за вызваленне Божых дамавіны". Безумоўна, пэўную ролю ў развіцці гэтага жанру на нашых землях адыграла і геаграфічнае знаходжанне Полацка, дзе па вядомай "Усходняй дарозе" рухаліся паломнікі са Скандынавіі на Усход і распаўядалі ў падзвіжных паселішчах паданні пра Святую Зямлю.

На падставе этнаграфічных прац вядомых даследчыкаў (М. Нікіфароўскага, М. Янчука і інш.) у манаграфіі створаны тып "вандроўнага калікі", паказана значэнне хрысціянства, якое ўнесла ў першабытную свядомасць надзвычайныя важныя кампаненты – ідэю ўваскрэснення. У аспекце тэмы даследавання закранае аўтар і вельмі цікавую праблему – ролю багамілаў у прапагандзе паломніцтваў.

З перакладных твораў, якія адыгралі важную ролю ў працэсе жанраскладання, даследчык адзначае "Хроніку Георгія Амарталя", "Гісторыю Іудзейскай вайны" Іосіфа Флавія, лацінскія цінерарыі ("Аб святых месцах Сільвіі Акітанскай", "Бардоскі падарожны", "Перагрынацыя Этэры" і інш.). Пераканаўча гучыць думка адносна адрознівання хаджэнняў ад цінерарыяў, у якіх змяшчалася падрабязнае апісанне шляхоў у Палесціну, чаго ў ранніх хаджэннях няма, як няма гэтага і ў нашай вуснай народнай творчасці.

Навуковую цікавасць уяўляе аналіз жанравай спецыфікі хаджэнняў, бо яны выступаюць полем перакрывавання розных сфер сярэднявечнай культуры (афіцыйнае пісьменства – вусная творчасць "калікаў вандроўных"), розных культурных тыпаў (царкоўных і свецкіх), а таксама розных літаратурных жанраў (летапіс, жыццё). На канкрэтным матэрыяле аўтар паказвае, што хаджэнне – гэта свяшчэннадзеянне на сакральнай прасторы, літаральнае і да таго ж тыповае народнае ўвасабленне хрысціянскай формулы "чалавек – вандроўнік у гэтым свеце". У хаджэннях рэлігійная праблематыка распрацоўваецца пераважна ў свецкай стылёвай абалонцы; прычым неадпаведнасць зместу і формы, атрымліваючы значэнне супярэчнасці, выступае рухавіком працэсу трансфармацыі жанру.

Несумненнай вартасцю працы з'яўляецца і ґрунтоўны літаратуразнаўчы аналіз "Хаджэння Графенія ў Палесціну", "Хаджэння святога манаха Варсанофія", "Хаджэння Ігнація Смалянкіна" і "Перагрынацыі Мікалая Крыштофа Радзівіла". С.Л. Гаранін знайшоў шэраг неведомых рукапісных спісаў "Хаджэння Ігнація Смалянкіна", крытычна прааналізаваў тры канцэпты гісторыі тэксту, што і прывяло яго да высновы: тэкст апрацоўваўся шасцю кніжнікамі і шмат разоў перапісваўся на розных землях. Хаджэнне становіцца сродкам увасаблення і выказвання глыбокага роздуму аб жыцці, свеце, аб гістарычным лесе – вось чаму яно выходзіць па-за жанравыя рамкі і спалучаецца з летапісам. Цікавыя назіранні праведзены і над тэкстам "Хаджэння Графенія", якое вылучаецца эканамічнымі і сельскагаспадарчымі звесткамі, адсутнасцю эмацыйна-нальных ацэнак падзей. У "Хаджэнні Варсанофія" акцэнтуюцца ўвага на рэлігійнай талерантнасці аўтара. Прадметам мастацка-дакументальнага выяўлення зрабіў сваю асобу Мікалай Крыштоф Радзівіл, герой "Перагрынацыі" – "носьбіт рэнесансавай культурнай

традыцыі", носьбіт "рэчпаспалітасці", а не толькі "беларускасці".

У раздзеле "Элементы гістарычнай пазыткі хаджэнняў" шмат увагі надаецца праблемам метаду і кампазіцыі. Пасля ґрунтоўнага аналізу хаджэнняў XII–XVI ст. даследчык прыходзіць да высновы, што кампазіцыя хаджэнняў развівалася ад інфармацыйна-аналітычных нарысаў, звязаных у межах твора агульным светапоглядным прынцыпам, асобай апавядальніка і маналагічнай формай падачы, да асобных эпізодаў падроўкі, якія паддадзены ў форме завершаных апавяданняў і ў той жа час аб'яднаны перамяшчэннем канкрэтнага чалавека ў рэальным часе і прасторы.

Навуковую цікавасць уяўляе і абгрунтаванне асноўнага метаду хаджэнняў – метаду тапаграфічнага сімвалізму, у аснове якога сінтэз тапаграфічнай нататкі з аўтабіяграфічным паведаннем пра акт наведвання святога месца і адпаведнай біблейскай або апакрыфічнай легендай. Не выклікае пытанняў выснова аўтара пра спалучэнне стыляў як выраз адзінства і глыбокай супярэчнасці эстэтычнай канцэпцыі чалавека, якая захоўваецца на ўсім працягу існавання паломніцкай літаратуры, але, паказваючы дынаміку станаўлення завершанай формы хаджэнняў, неабходна было канкрэтызаваць топасы і запачыненні ў хаджэннях XII–XVI ст., паказаць спалучэнне розных стылістычных адзнак у межах аднаго апісальнага цыкла. Думаю, што пры абгрунтаванні гэтага пытання рэзба было ўлічваць дыялектычнае спалучэнне агульнага (спосаб адлюстравання), спецыфічнага (тэндэнцыі эпохі) і індывідуальнага (ідэалы падарожнікаў). Навуковую вартасць маюць і дадаткі да манаграфіі, у якіх прыводзяцца археаграфічныя заўвагі і тэксты "Хаджэння архімандрыта Графенія", "Хаджэння святога манаха Варсанофія", даецца тэксталагічна-археаграфічны каментарый і рэканструкцыя тэксту "Хаджэння Ігнація Смалянкіна".

Такім чынам, у манаграфіі С.Л. Гараніна аналіз тэкстаў асобных хаджэнняў спалучаецца з абгульненнем і раскрыццём філасофска-маральнай праблематыкі твораў, падкрэсліваецца дыскрэты характар развіцця жанру хаджэнняў на Беларусі, даюцца глыбокія тэарэтычныя распрацоўкі. Несумненна, праца маладога беларускага вучонага будзе карыснай для ўсіх, хто цікавіцца нашай багатай мінуўшчынай.

Т.П. Казакова,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

«STUDIA RUSSICA. XVIII». Рэдактар Б. Татар. Ответственный редактор А. Золтан. Будапешт, Будапештский университет им. Л. Этвеша. Факультет гуманитарных наук. Кафедра восточнославянской и балтийской филологии. 2000. 496 с. [Мовы выдання – беларуская, нямецкая, польская, руская, украінская].

У мінулым годзе выйшаў чарговы, XVIII том з серыі "Studia Russica", што выдаецца кафедрай усходнеславянскай і балтыйскай

філалогіі (да 1995 г. — кафедры рускай філалогіі) факультэта гуманітарных навук Будапешцкага ўніверсітэта імя Лоранда Этвеша. Гэта ўжо трэці том, дзе публікуюцца работы па беларусістыцы. Упершыню беларуская тэматыка асвятлялася ў XVI томе серыі (1997). Вялікая заслуга ва ўзнікненні цікавасці ў Венгрыі да беларускай мовы, яе гісторыі, праблем уззаемадзеяння з іншымі мовамі належыць загадчыку названай вышэй кафедры Андрашу Золтану і яго калегам. Як можна прасачыць па публікацыях, беларускі матэрыял А. Золтан спачатку выкарыстоўваў у даследаваннях як дапаможны. У апошні ж час старабеларускае пісьменства становіцца важным аб'ектам навуковых інтарэсаў даследчыка. Так, напрыклад, публікацыя навукоўца ў названым зборніку прысвячаецца параўнанню існуючых выданняў тэксту гісторыі пра Атылу (*Zoltan Andras* "К изучению старобелорусской Истории о Атыли"). У артыкуле паказваецца рад лінгвістычна значных адступленняў (пропускі слоў, фраз, цэлых радкоў) у старабеларускіх тэкстах апавесці ў параўнанні з польскім перакладам Ц. Базыліка (1574) і лацінамоўным арыгіналам твора венгерскага гуманіста М. Олаха. А. Золтан прыходзіць да высновы, што існуючыя выданні старабеларускага помніка не адпавядаюць навуковым патрабаванням, таму неабходна новае выданне, якое варта ажыццявіць з улікам тэкстаў арыгінала і прамежкавага польскага перакладу.

Параўнальны аналіз беларускіх і венгерскіх фразеалагізмаў прыцягнуў увагу Б. Татар (*Bela Tatar* "Сравнительно-сопоставительный анализ белорусских и венгерских фразеологизмов (с компонентом 'вода' — 'viz')"). Улічваючы пэўны рост зацікаўленасці студэнтаў Будапешцкага ўніверсітэта беларускай мовай, гэтай публікацыяй маецца на мэце звярнуць увагу на праблемы двухмоўнай фразеалогіі і стварэнне беларуска-венгерскага фразеалагічнага слоўніка.

Большая частка са змешчаных матэрыялаў (54 з 73) у XVIII т. "Studia Russica" — гэта даклады міжнароднай канферэнцыі "Мовы ў Вялікім княстве Літоўскім і краінах Усходняй Еўропы: міграцыя слоў, выразаў і ідэй", якая адбылася ў Будапешце 5–7 красавіка 2000 г. Ілюстрацыяй міграцыі ідэй з'яўляецца артыкул Т.А. Апарынай «Звучание слова "Русия" при переводах с "простой мовы" в Московском государстве первой половины XVII века». У ім паказана, як тэксты, створаныя ў ВКЛ (у прыватнасці, пераклад са старабеларускай мовы "Кнігі аб веры", апублікаваны ў Маскве ў 1648 г.) і закліканы даказваць неабходнасць незалежнасці беларуска-ўкраінскага этнасу, «вовлекаліся в построение и московской национальной идеи» (с. 195).

Вядома, не толькі ідэі, што ўзніклі ў адным этнічным асяроддзі, выкарыстоўваліся іншымі народамі. У гісторыі ёсць прыклады, калі значную ролю ў лёсе пэўнага народа адыгрываў іншазэтных манарх. Аб безумоўнай папулярнасці ў беларусаў Стэфана Баторыя (Сцяпана Батуры), каралём якіх ён быў больш за 10 гадоў, піша А. Катлячук у артыкуле "Стефан Баторий в народной культуре белорусов". У цэлым станючы вобраз манарха-венгра захаваўся ў беларускім фальклоры, аб яго кіраванні напамінаюць на-

шым сучаснікам і шматлікія беларускія тапонімы. Расійскі навуковец падкрэслівае, што яго публікацыя — гэта толькі першыя вынікі вывучэння тэмы і таму прапануе ўсім зацікаўленым асобам і навуковым установам Венгрыі супрацоўніцтва ў арганізацыі этнаграфічнай экспедыцыі па мясцінах полацкага паходу Стэфана Баторыя з мэтай запісу новых матэрыялаў, звязаных з імем караля.

Пры наяўнасці ў зборніку артыкулаў з галіны гісторыі, літаратуразнаўства, этнаграфіі пераважаюць лінгвістычныя матэрыялы разнастайнай тэматыкі. Праблему неаднароднай структуры літаратурнай мовы ВКЛ закранае В. Мякішаў (*W. Miakiszew* "Мовы" Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей"). Фармулюючы падставы для супрацьпаставлення дзвюх саманазваў "руская мова" (РМ) і "простая мова" (ПМ), даследчык выказвае меркаванне, што "определение РМ появилось, чтобы противопоставить *власный* язык иным возможным в ведении канцелярского делопроизводства — прежде всего польского и латыни. Понятие же ПМ подчеркивает оппозицию к языку церковнославянскому" (с. 170).

Тэма беларуска-польскага лексічнага ўзаемаўплыву раскрываецца ў артыкулах шэрагу польскіх даследчыкаў: Зоф'і Абрамовіч ("Nazwy osobowe Białostoczczyzny XV–XVII w. jako odbicie kontaktów językowych i kulturowych w Wielkim Księstwie Litewskim"), Баруміла Астроўскага ("Wpływ polszczyzny na białoruskie gwary okolic Grodna"), Казімеры Пастусяк ("Nazwy grzybow na polsko-białoruskim pograniczu językowym") і інш.

У зборніку змешчаны матэрыялы дзевяці беларускіх мовазнаўцаў. Тэматыка іх дакладаў даволі разнастайная. Пытанне паходжання слова *цымборыкі* і яго пранікнення ў беларускую мову ўзнімае Генадзь Цыхун ("Пра зборыкі-цымборыкі і шляхі міграцыі цэнтральнаеўрапейскіх слоў на Беларусь"). Вывіляючы адносіны названага слова да іншых фармальных блізкіх у цэнтральнаеўрапейскім арэале, даследчык прыходзіць да высновы, што беларускае *цымборыкі* "ласкавая назва дзіцяці" і другі кампанент спалучэння *зборыкі-цымборыкі* звязана з венгерскім *сімбога* "таварыш", што ўзыходзіць да праславянскага **sebrъ*. Венгерская інавацыя, мяркуюе Г. Цыхун, хутчэй за ўсё "была занесена ў Беларусь гандлярамі і канаваламі з Аўстра-Венгрыі, якія... былі пераважна славакамі" (с. 47).

Лёс у беларускай мове такіх слоў, як *абежнік* 'цыркуляр', *кніжніца* 'бібліятэка', *слухальня* 'аўдыторыя' і інш., якія ў ачыйным мовазнаўстве з-за адсутнасці аднак іншамунасці часцей за ўсё кваліфікуюцца як уласныя ўтворэнні, прасочвае Сяргей Запрудскі ("Да гісторыі некаторых вандроўных запазычанняў-калек у беларускай мове"). Грунтоўны аналіз паходжання падобных слоў дазваляе аўтару даследавання кваліфікаваць іх як так званыя вандроўныя калекі, г. зн. словы, «якія, быўшы ўтворанымі ў якой-небудзь мове, пазней пераходзілі, "вандравалі"... з адной мовы ў другую» (с. 315). І ў беларускай мове рабіліся спробы папуляраваць лексіку (асабліва інтэлектуальную) праз калькаванне імяецкіх, чэшскіх, польскіх слоў з мэтай пазбегнуць запазычвання лацінскіх і грэчаскіх. Прадстаўлены матэрыял дае магчы-

масць глыбей асэнсавачы і аб'ектыўна ацаніць некаторыя тэндэнцыі развіцця лексічнага складу беларускай літаратурнай мовы пачатку XX ст.

Фанетыка-граматычныя варыянты тапоніма Брэст на матэрыяле летапісаў аналізуе Валянціна Мароз ("Пра адну ўласную назву"). Праблемы мастацкага перакладу даследуюць С.А. Скамарохава ("Нацыянальна-культурны кампанент мовы і некаторыя праблемы ягонага перакладу") і Наталля Якубук ("Сінанімічны рад у арыгінальным і перакладным тэкстах"). Устанаўліваюць, наколькі тоесныя сінтаксічныя сістэмы беларускай і польскай моў, — мэта даследавання С.А. Важніка "Яшчэ раз аб пераходным характары сінтаксісу беларускай мовы". Асаблівасцям сістэмнай арганізацыі словаўтварэння прысвечаны даклад Л.А. Гайдукі "Месца складанага слова ў словаўтваральным гняздзе". У матэрыяле І.У. Будзько "Асабенносьці функцыянавання мовы на тэрыторыі Браслаўшчыны (Беларусь)" тлумачацца вытокі сакральнага полілінгвізму ўказанай мясцовасці.

Як бачым, матэрыялы названай вышэй міжнароднай канферэнцыі, змешчаныя ў XVIII томе зборніка "Studia Russica", сведчаць аб цікавасці да беларускай тэматыкі навукоўцаў розных краін.

Г.І. Кулеш,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

А.К. Кіклевіч. Лекцыі по функциональной лингвистике. Мн.: БГУ, 1999. 215 с.

Вывучэнне мовы ў працэсе яе функцыянавання ў грамадстве і разуменне яе як формы чалавечай дзейнасці адкрывае перад кожным, хто займаецца такім даследаваннем, неабмежаваныя магчымасці пранікнення ў сутнасць моўнага феномена. Функцыя — неад'емны арыбут мовы, які выяўляецца ў сацыяльных зносінах членаў грамадства і без якога мова не з'яўляецца тым, чым яна з'яўляецца, — адным з найбольш важных камунікатыўных сродкаў. Няма слова без функцыі, лінгвістычны аналіз слова павінен быць аналізам функцыянальным — вось асноўная думка, якая лейтматывам праходзіць праз кнігу А.К. Кіклевіча "Лекцыі по функциональной лингвистике" (Мн., 1999).

Вучэбнае выданне сістэматызавана, поўна і дакладна інфармуе чытача пра новыя дасягненні ў галіне сусветнай функцыянальнай лінгвістыкі, і таму яно з поўным правам можа быць названа энцыклапедыяй функцыянальнай лінгвістыкі. Дасведчаны ў галіне функцыянальнай лінгвістыкі аўтар прыводзіць шматлікія звесткі з замежных лінгвістычных крыніц, якія з'яўляюцца маладаступнымі ці наогул недаступнымі айчынныму чытачу. У прыватнасці, спіс літаратуры, на якую робяцца спасылкі ў тэкстах лекцый, налічвае 245 крыніц (з іх 105 — на мовах далёкага замежжа). Значна прадстаўлены і папярэднія публікацыі самога аўтара (17 пазіцый), а так

сама працы айчынных моваведаў, што маюць дачыненне да адзначанай публікацыі.

Вучэбны дапаможнік у сістэматызаваным выглядзе выкладае асновы функцыянальнага падыходу да вывучэння мовы. Прыводзяцца розныя пункты гледжання на трактоўку цэнтральнага паняцця функцыянальнай лінгвістыкі — "функцыі", апісваецца гістарычны аспект развіцця функцыяналізму як аднаго з напрамкаў айчынных і замежных гуманітарных даследаванняў, выкладаюцца канцэпцыі функцыянальнай граматыкі С. Дзіка і Г. Яхнова, рэпрэзентуюцца тэорыя функцый К. Айдукевіча, прыводзяцца звесткі з шырока распаўсюджанай у замежным мовазнаўстве тэорыі натуральнасці, абмяркоўваецца шэраг пытанняў, пастаўленых на парадак дня сучаснай функцыянальнай лінгвістыкай.

Выдадзены вядомым вучоным дапаможнік далёка выходзіць за межы вучэбнага выдання. І ў такім "парушэнні межаў жанру", напэўна, заключаецца найбольшае яго каштоўнасць. Як слушна заўважае аўтар у прадмове, "функцыянальнае вывучэнне мовы ахоплівае ўсё больш шырокія колы маладых лінгвістаў, якія пачынаюць сваё жыццё ў навуцы". Менавіта для іх важна не столькі зарыентавацца ў шматлікіх напрамках сучаснай лінгвістыкі, колькі разабрацца з асноўнымі паняццямі, пранікнуць у сутнасць навуковых тэорый, якія прадстаўлены існуючымі ў сучаснай навуцы аб мове школамі функцыянальнай лінгвістыкі.

У другой частцы выдання асабліва выразна выяўляецца імкненне аўтара да аналітыкі і дыскусіі па дабыванню навуковай ісціны. А.К. Кіклевіч закранае шэраг спрэчных пытанняў, "правакуе" ўступленне чытача ў дыскусію, даючы гэтым самым яму магчымасць сцвердзіцца і выявіць свае аналітычныя здольнасці.

Разглядаюцца праблемы формы і субстанцыі, суадносіны паміж планам выражэння і зместавым планам моўнага знака, унутранай формай намінацыйных і камунікатыўных адзінак. З функцыянальнага пункту гледжання аналізуюцца традыцыйныя для мовазнаўства праблемы (семантычных аказіяналізмаў), абмяркоўваецца неабходнасць увядзення ў навуковы ўжытак новых, вырацаваных лінгвістычнай практыкай паняццяў (напрыклад, прапанаванае ў працах У.В. Мартынава паняцце "неопределеннозначности").

Мова паўстае ў сваёй сістэмнай іпастасі, апазітыўнай ураўнаважанасці адзінак, змест якіх вызначаецца адрозненнем ад іншых членаў пэўнага асацыятыўнага рада. Акцэнтуюцца ўвага на знаках "па ўстанаўленні", шырока выкарыстоўваецца лінгвістычны эксперымент, які дазваляе ўбачыць адрозненне паміж пісьмом і аналізам, інфарматыкай і семіётыкай, уласна лінгвістычнай і так званай энцыклапедычнай семантыкай.

Выхад у свет вучэбнага дапаможніка па функцыянальнай лінгвістыцы, падрыхтаванага вучоным-практыкам, — значная падзея ў айчынным мовазнаўчым і метадычным навуцы.

В.І. Сянкевіч,
доктар філалагічных навук



МІЖНАРОДНАЯ НАВУКОВАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ “БЕЛАРУСКАЯ І ІНШЫЯ СЛАВЯНСКІЯ МОВЫ: СЕМАНТЫКА І ПРАГМАТЫКА” (ПАМ’ЯЦІ ПРАФЕСАРА А.Я. СУПРУНА)

28–29 верасня 2001 г. на філалагічным факультэце адбылася Міжнародная навуковая канферэнцыя “Беларуская і іншыя славянскія мовы: семантыка і прагматыка”. Дзякуючы намаганням кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, якую больш за 30 гадоў узначальваў А.Я. Супрун, склалася добрая традыцыя – у канцы верасня праводзіць Супрунаўскія чытанні, на якіх калегі, вучні і сябры знакамітага лінгвіста асэнсоўваюць яго навуковую спадчыну, абмяркоўваюць надзённыя пытанні агульнага і славянскага мовазнаўства. Да пачатку пасяджэння было прымеркавана і выданне яго кнігі: Супрун А.Е. “Исследования по лингвистике текста: Сборник статей” (Мн.: БГУ, 2001).

Па традыцыі склад удзельнікаў канферэнцыі не быў занадта шырокі: праслухана і абмеркавана 20 дакладаў навукоўцаў з Беларусі, Германіі, Польшчы, Расіі і Украіны. Афіцыйнымі мовамі канферэнцыі былі беларуская і руская мовы. Ранішняя пасяджэнне канферэнцыі пачалося з дакладаў, прысвечаных навуковай дзейнасці А.Я. Супруна: “Аналіз лексічнай структуры паэтычнага тэксту: аб апошняй кнізе прафесара А.Я. Супруна” (дацэнт Л.І. Собалева, Мінск) і “Тэорыя маўленчай дзейнасці ў трактоўцы А.Я. Супруна і задачы этнаграфіі камунікацыі” (прафесар І.І. Токарава, Мінск). Даследаванне семантыкі было прааналізавана ў дакладах прафесара В.У. Мартынава (Мінск) “Семантычныя прымітывы: рэканструкцыя і пераўтварэнне” і доктара філалагічных навук Ж.Ж. Варбат (Масква) “Семантычныя ўрокі этымалогіі”. У дакладзе прафесара А.Я. Міхневіча (Мінск) “Ідыяматыка” разглядалася роля ідыяматычных адзінак розных узроўняў у моўнай дзейнасці чалавека. Прафесар Б.Ю. Норман (Мінск) завяршыў ранішнюю пасяджэнне дакладам “Хізм у славянскіх мовах: перадумовы, умовы, вынікі”.

Дзённае пасяджэнне канферэнцыі распачала прафесар Э. Смуклова (Варшава) асвятленнем тэмы “Мовы і абліччы палітычных і сацыяльных перамен”. Сацыялінгвістычны блок канферэнцыі быў працягнуты прафесарам Н.Б. Мячкоўскай (Мінск): “Анамастычныя перамены ў беларускай і рускай мовах: нацыянальна-семіятычны адрозненні”. Агляд сучаснага стану вывучэння катэгорыі асобы зрабіла ў сваім дакладзе “Семантыка асобы ў славянскіх мовах” доктар філалагічных навук А. Крчмер (Бохум, ФРГ). Прафесар А.І. Бармут (Кіеў) прадставіла даклад “К. Чапек – майстар літаратурнага гутарковага стылю (Hovorys T.G. Masarykem)”. У дакладзе “Метад канцэптуальных карт у дачыненні да аналізу тэксту” (дацэнт А.Н. Рудэнка, Мінск) была прадэманстравана магчымасць аперыравання канцэптамі тэксту з дапамогай канцэптуальных карт. Аналізу тэксту быў прысвечаны і даклад дацэнта А.М. Калюты (Мінск) “Чорны і белы колер: знакі зла і жалобы ў паэзіі Арсенія Таркоўскага”. Дацэнт А.І. Цітова (Мінск) у дакладзе “Антагенез асацыятыўных структур лексікі абазначэнняў колеру ў славянскіх мовах” прадставіла вынікі сваіх шматгадовых назіранняў над дынамікай рэакцый на словы-стымулы са значэннем колеру.

Другі дзень канферэнцыі вызначаўся шэрагам дакладаў прафесараў па беларускай тэматыцы: Г.А. Цыхун (Мінск) “З гісторыі беларускай славістыкі: Леў Цвятоў і яго беларуска-інша-славянскія штудыі”, Б.А. Плотнікаў (Мінск) “Тлумачальныя слоўнікі беларускай мовы”, М.Р. Прыгодзіч (Мінск) “Праблема гістарычнага словаўтварэння беларускай мовы на сучасным этапе”.

На канферэнцыі разглядаліся і праблемы гістарычна-герменеўтычнай праблематыкі ў дакладах прафесара Я.М. Верашчагіна (Масква) “Прагмалінгвістычнае вылічэнне гутарковых паводзінскіх тактык IX песні Канона Дзімітрыю Салунскаму па найстаражытнейшаму спісу” і дацэнта А.А. Кожынавай (Мінск) “Да пытання аб арыгінале і перакладах тэксту Эжэзіяста”. Завяршылі канферэнцыю даклады дацэнта Г.І. Шаўчэнкі (Мінск) “Аб дзявоцкай лічбе «сем» і фразеалагізмах з ёй” і кандыдата філалагічных навук К. Іванова (Мінск) “Прагматыка і семантыка балгарскіх праклёнаў”.

У заключным слове загадчык кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства прафесар Б.Ю. Норман адзначыў, што традыцыйныя Супрунаўскія чытанні сталі значнай навуковай падзеяй не толькі ў БДУ, але і далёка за межамі ўніверсітэта. Так, у гэтым годзе ў Мюнхене быў выдадзены зборнік дакладаў папярэдняй канферэнцыі “Количественность и градуальность в естественном языке” (“Quantität und Graduierung in der natürlichen Sprache”, München: Sagner, 2001). Плануецца таксама выданне дакладаў і сёлетняй канферэнцыі. Актыўны ўдзел у рабоце канферэнцыі аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, якія

праваў 1 кастрычніка II Супрунаўскія чытанні маладых навукоўцаў, дае надзею на тое, што педагагічная і навуковая справа А.А. Супруна будзе працягвацца і надалей.

А.В. Зінкевіч,
кандыдат філалагічных навук, дацэнт

У МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛАВЯНСКИЕ ЛИТЕРАТУРЫ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ»

На філолагічным факультэце Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта стала хорошей традыцыяй праводзіць Міжнародную навуковую канферэнцыю «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай». На гэты раз яе арганізатарам была кафедра рускай літаратуры. Канферэнцыя адбылася 16–18 кастрычніка 2001 г. і была прысвечана 80-годдзю ўніверсітэта. У ёй прынімалі ўдзел 135 вучоных з 10 дзяржаў: Расіі, Украіны, Польшы, Чэхіі, Латвіі, Эстоніі, Англіі, Германіі, Швецыі і, канечна, Беларусі. Работа канферэнцыі прайшла ў пяці секцыях: «Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўства», «Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай», «Руская літаратура ў кантэксце сусветнай», «Сусветная літаратура: праблемы ўзаемадзеяння і ўзаємасвязей», «Ф.М. Дастоеўскі і сусветнай літаратурнай працэс» (к 180-годдзю пісатэля).

На пленарным пасяджэнні заслушана 14 дакладаў, якія адражалі актуальныя праблемы славянскіх літаратур, іх ўзаємасвязь і ўзаемадзеянне. Асаблівы інтарэс вызвалі даклады, прысвечаныя даследаванню ўзаємасвязі беларускай літаратуры з рускай і другімі літаратурамі сусветна: «Польская поэзія XX стагоддзя і Беларусь» – доклад члена-карэспандэнта НАН Беларусі О.А. Лойко; «Поэзія М. Сяднева і нямецкае культурнае наследдзе» – доклад прафесара з Англіі А. Макміліна; «Руская і беларуская драматургія канца XX стагоддзя» – доклад прадседатэля арганітэта канферэнцыі, заведуючай кафедрой рускай літаратуры, доктара філолагічных навук С.Я. Гончарова-Грабовскай; «Славянскаясць як складнік самасвядомасці беларуса» – доклад прафесара І.А. Черота.

Некількі дакладаў прысвечалася вучоным, займаючымся праблемамі кампаратывістыкі («Славянства Мар’ян Дзядохойскі (да 140-годдзя з дня нараджэння)» – доклад прафесара В.П. Рагойш; «Славянская словеснасць ў воспріятці І.А. Бодуэна дэ Куртэнэ» – доклад прафесара з Польшы Базыля Бялоказовіча).

Не менш інтарэснымі аказаліся даклады, затрагівальныя частныя вопысы як рускай літаратуры («Поэтыка жанра і стыля (на матэрыяле романа Л.Н. Толстага «Война і мір»)» – доклад прафесара МГУ А.А. Эсалнек; «Остров Капри ў рускай літаратуры пачатку XX стагоддзя» – доклад прафесара з Даўгапілса І.В. Трофімова; «Эксперыменты з жанровымі формамі ў рускай прозе 90-х гадоў XX стагоддзя» – доклад прафесара з Санкт-Пецярбурга К.Д. Гордовіч), так і беларускай («Роман В. Короткевіча «Хрыстос прыземліўся ў Гродне» ў кантэксце сусветнай літаратуры» – доклад прафесара з Польшы Ванды Сула).

В центре внимания ученых секции «Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўства» былі такія вопысы, як «Метадологія Беларусі, Расіі і США ў поісках новых падходаў» – доклад прафесара Т.Е. Комаровскай; «Асабнасць і характар развіцця сярнаўлітэра- літаратуразнаўства ў Беларусі» – доклад дацэнта Г.Е. Адамовіч і др.

Найбольш многачысленнай аказалася секцыя «Беларуская літаратура ў кантэксце сусветнай», на якой у 48 дакладах былі адражаны разныя праблемы беларускай літаратуры, пачынаючы з дрэвніх чрэм і да савремнасці. Вызвалі дыскусію такія даклады, як «Славянскі міф пра Перуна ў інтэрпрэтацыі Яна Баршчэўскага» (дацэнт Н.В. Хаустовіч), «Літва, літоўцы, беларусы ў лацінамоўных паэмах Яна Вісліцкага і Яна Радвана» (дацэнт Ж.В. Некрашэвіч), «Да праблемы кіраваных уяўленняў пра беларускі нацыянальны характар» (прафесар Л.Д. Сінькова), «Аб феномене «мэтрычнай нераўнаважнасці» ў фарміраванні нацыянальнай прызначнай прасоды» (дацэнт І.В. Жук), «Да праблемы суадносін універсальных і нацыянальных каштоўнасцей у беларускай літаратуры пачатку XX ст.» (дацэнт В.А. Максимовіч), «Мастацкая мадэль нацыянальнага быцця ў прозе беларускай эміграцыі XX ст.» (дацэнт А.І. Пашкевіч) і др.

Доклады секцыі «Руская літаратура ў кантэксце сусветнай» адражалі шырокі круг праблем, якія ўпершыню былі падняты ў літаратуразнаўстве: «Традыцыя ўсходнеславянскай кніжнай культуры ў кантэксце сусветнай літаратуры» (Пушкін, Дастоеўскі, Мандэльштам, Набоков) (дацэнт С.Ф. Кузьміна), «Кржжанавскі і Мейрынк: слово як сэнсаслопарождаючы элемент поэтыкі» (прафесар з Гродна Т.Е. Автуховіч), «Сюррэалізм ў рускай і беларускай прозе канца XX стагоддзя» (прафесар Г.Л. Нефагіна) і др.

В связи с 180-летием со дня рождения Ф.М. Достоевского работала секция «Ф.М. Достоевский і сусветнай літаратурнай працэс», на якой былі заслушаны такія даклады, як «Дастоеўскі ў русле рэлігійнай філасофіі» (дацэнт М.Ф. Печенка), «Культурныя парадігмы Шэкспіра і Достоевскага ў п’есе Хайнера Мюллера «Гамлет-машына» (дацэнт В.В. Халіпов), «Дастоеўшчына як тып творчасці» (прафесар А.Н. Андреев) і др.

Опубликованные материалы конференции отражают актуальные проблемы славянских литератур, их взаимосвязь и взаимодействие и вносят весомый вклад в развитие не только отечественного литературоведения, но и зарубежного.

Т.В. Алешка,
кандыдат філолагічных навук, дацэнт

БЕЛАРУСКАМУ ДЗЯРЖАЎНАМУ УНІВЕРСІТЭТУ 80 ГАДОЎ

<i>Вараб'ёў В.П.</i> Трансфармацыя адукацыйнай і даследчай мадэлей журналістыкі ў працэсе стварэння нацыянальнай інфармацыйнай прасторы Беларусі	2	6
<i>Гончарова-Грабовская С.Я.</i> Исследования по русской литературе в БГУ	2	29
<i>Мурына Л.А.</i> Філалагічны факультэт: станаўленне і развіццё (1921–2001)	2	3
<i>Норман Б.Ю.</i> Проблема «Язык – словарь – текст» в исследованиях кафедры теоретического и славянского языкознания	2	47
<i>Прыгодзіч М.Р.</i> Беларуская мова ў працах лінгвістаў БДУ (1921–2001)	2	10
<i>Рагойша В.П.</i> Развіццё ў БДУ тэарэтыка-літаратурнай думкі	2	19
<i>Ровдо И.С.</i> Лингвистическая русистика университета на рубеже веков	2	13
<i>Сінькова Л.Д.</i> Беларуская літаратура ў даследаваннях вучоных БДУ	2	24
<i>Чарота І.А.</i> Станаўленне літаратуразнаўчай славістыкі ў БДУ	2	45
<i>Шаблоўская І.В.</i> Кафедра замежнай літаратуры ў новым стагоддзі	2	36
<i>Шамякіна Т.І.</i> На ніве беларусазнаўства	2	34
<i>Шевченко Г.И.</i> Классическая филология БГУ: шесть лет после старта	2	42

НАШЫ ЛАЎРЭАТЫ

<i>Мечковская Н.Б.</i> Три книги о языке, получившие премию Пичеты	3	3
--	---	---

ЛІТАРАТУРАЗНАЎСТВА

<i>Автухович Т.Е.</i> "Сон" в поэзии Е. Боратынского	1	22
<i>Алешка Т.В.</i> Творческий опыт О. Мандельштама и поэзия Б. Ахмадулиной	1	33
<i>Багдановіч І.Э.</i> Мастацкія алегорыі ў творчасці Францішка Багушэвіча	1	3
<i>Бельскі А.І.</i> Рэгіянальны субстрат і яго роля ў стварэнні нацыянальнага вобраза свету (на матэрыяле беларускай паэзіі)	1	15
<i>Гуліцкая Т.П.</i> "Апокрысіс" (1597) Хрыстафора Філалета: стылёва-жанравая спецыфіка палемічнага твора	3	40
<i>Дешковец Н.В.</i> Лоренс Стерн и роман начала XX века	2	63
<i>Дзянісав Н.В.</i> Праблемы аўтаперакладу і аўтарызацыі (на матэрыяле перакладаў рамана Івана Мележа «Мінскі напрамак»)	3	31
<i>Друк Г.М.</i> Міфатворчасць як ідэястваральная аснова ў прозе Віктара Казько і Чынгіза Айтматава	2	59
<i>Дуброўскі А.У.</i> Сілаба-танічны верш Рыгора Барадуліна	2	55
<i>Каліцэв В.А.</i> Мотив Судьбы в драматургии Иннокентия Анненского	3	44
<i>Лаліцэнак І.Б.</i> Проблема ўзнаўлення метрычнага вершавання (на матэрыяле перакладаў Язэпа Семяжона і Уладзіміра Шатона паэмы «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага)	3	35
<i>Лявонава Е.А.</i> Беларуская літаратура XX ст. і заходнееўрапейская асветніцкая традыцыя (У. Караткевіч і І.В. Гётэ)	3	9
<i>Макарава І.Л.</i> Творчы метады Т.С. Эліата і літаратурная эстэтыка XX стагоддзя	2	68
<i>Максімовіч В.А.</i> Я. Купала і М. Багдановіч: мадэрнісцкі ракурс творчасці	1	12
<i>Наталевіч В.Г.</i> Шлюбная сімволіка на свята летняга сонцавароту ў еўрапейскай фальклорнай традыцыі	3	18
<i>Северінец А.К.</i> Пространство и время в романе Гайто Газданова «Вечер у Клэр» ..	1	38
<i>Смирнова О.А.</i> Повествовательные структуры Киево-Печерского патерика	3	25
<i>Хаймовіч М.Л.</i> Поэтика прозы В.В. Розанова 1912–1915 гг.	1	27
<i>Хаўстовіч М.В.</i> "Разказы на беларускомь наречіи" ў кантэксте ананімнай літаратуры 60-х гг. XIX ст.	1	6
<i>Чмарава М.І.</i> Я.А. Ляцкі як даследчык беларускай літаратуры	1	18
<i>Шпаковский И.И.</i> Жанровое своеобразие рассказа Валентина Распутина «Видение»	3	13
<i>Якімец І.І.</i> Паэтыка экзотыкі	1	41
<i>Ярошенко Л.В.</i> Природа в романе-мифе А. Платонова "Счастливая Москва"	1	30

МОВАЗНАЎСТВА

<i>Воронцова Е.Г.</i> Концептуализация имени: Ф. Скорина	1	50
<i>Гапоненка І.А.</i> Праваліс вялікай літары ў беларускіх выданнях пачатку XX ст.	1	72
<i>Гушчава В.І.</i> Аб семантычнай структуры і валентнасці лексемы <i>paties</i> у польскай мове	3	74
<i>Ефимчик О.Е.</i> Природоведческая терминология в «Назирателе» (XVI в.)	2	86
<i>Зарембо О.С.</i> Своеобразие церковнославянской орфографии в "еллинословенской" грамматике "Адельфотис" (Львов, 1591)	3	63
<i>Казанцева Е.А.</i> Роль метафорических стереотипов в славянских загадках	2	77
<i>Кожынава А.А.</i> Да пытання пра пераклады евангельскіх тэкстаў XVI ст.	2	72
<i>Мельникова О.Н.</i> Концепт «время» как основа формирования значения долженствования (на материале восточнославянских языков)	3	69

Навасельцава І.І. Мастацка-выяўленчыя сродкі і формы іх выражэння ў паэтычнай мове Ніла Гілевіча	1	58
Облова О.А. Коррелятивность русских причастных оборотов и белорусских синтаксических конструкций	2	81
Паляшчук Н.В. Аб семантычнай структуры дзеяслоўнай лексікі ў старабеларускім юрыдычным кодэксе "Трыбунал" (Вільня, 1586)	3	55
Проклопчук О.Г. Концепция инверсии в византийской теории тропов и фигур (трактат Георгия Хировоска «О поэтических тропах» (VI в.))	3	58
Ратникова И.Э. Топонимика и метафора	1	54
Рудэнка А.М. Мова інфармацыйных тэхналогій як сацыяльны дыялект рускай і чэшскай моў	3	50
Садоўская А.Л. Сімволіка вераб'я ў беларускай фразеалогіі і парэміялогіі	1	68
Слыхалова Н.Г. Соматические речения со значением удивления в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»	3	79
Супрун-Белевич Л.Р. Лексико-семантические компоненты образа осени в поэзии представителей русского и болгарского символизма (А. Блок, П. Яворов)	1	65
Харанека С.С. Дзеясловы перадачы інфармацыі ў стараславянскай мове	1	45
Шагуна А.С. Паходжанне асабовай лексікі ў хроніцы Быхаўца (сярэдня XVI ст.)	1	76

ЖУРНАЛІСТЫКА

Вараб'ёў В.П. Паліталогія журналістыкі: шляхі станаўлення	3	85
Градзюшка А.А. Дзейнасць ЮНЕСКА па стварэнню новай міжнароднай інфармацыйнай і камунікацыйнай прасторы на сучасным этапе	1	82
Дмитриев Е.И. Формирование социологической культуры журналиста	2	91
Еловик Е.Н. Идеальные конструкции ("фикции") в текстах средств массовой информации	2	97
Патрэбін А.У. Штодзённые газеты Беларусі: вызначэнне тэматычных прыярытэтаў у асвятленні эканамічнай праблематыкі	3	88

ПЕДАГОГІКА

Зыль Т.Е. Проблема изучения стиля писателя в методическом наследии и литературном образовании XVIII–XIX вв.	3	92
Литвинко Ф.М., Соколыч И.А. Теоретическое обоснование функционального подхода к изучению глагола в школе	1	86
Папова А.Э. Дыдактычныя аспекты выкладання інфарматыкі гісторыкам	2	102
Хведченя Л.В. Теоретическое обоснование включения компонентов культуры в содержание иноязычного образования	3	98
Царева О.И. Изучение русской поэзии рубежа XIX–XX вв. в средней школе	2	107

РЭЦЭНЗІІ

Булахав М. Г. С. М. Прохорова. Еще раз о языковой непрерывности	1	91
Казакова Т.П. С.Л. Гаранін. Шляхамі даўніх вандраванняў: Гістарычна-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII–XVI ст.	3	106
Кулеш Г.І. «STUDIA RUSSICA, XVIII»	3	107
Мячкоўская Н.Б. Bibliografia językosławstwa slawistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992–1994	3	105
Прыгодзіч М.Р. М.Г. Булахаў. "Слово о плъку Игоревѣ" і Беларусь: Да 200-годдзя першага выдання "Слова о плъку Игоревѣ"; "Слово о плъку Игоревѣ" у асвятленні дзеячаў беларускай навукі, літаратуры і культуры	1	92
Сянкевіч В.І. А.К. Киклевич. Лекции по функциональной лингвистике	3	109

ХРОНІКА

Алешка Т.В. V Международная научная конференция "Славянские литературы в контексте мировой"	3	111
Зінкевіч А.В. Міжнародная навуковая канферэнцыя "Беларуская і іншыя славянскія мовы: семантыка і прагматыка" (памяці прафесара А.Я. Супруна)	3	110
Казанцава А. Міжнародная навуковая канферэнцыя "Колькаснасць і градуальнасць у мове", прысвечаная памяці прафесара А.Я. Супруна	1	95
Ровдо И.С. Шубинские чтения	1	95
Чумак Л.Н. Язык и социум	1	94

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

Алег Антонавіч Лойка	2	113
Людміла Мікалаеўна Чумак	1	93

CONTENS

OUR PRIZE-WINNERS

<i>Mechkovskaya N.B.</i> Tree Books on Language that Received the Picheta's Prize	3
---	---

LITERARY RESEARCH

<i>Lyavonava E.A.</i> The Belarusian Literature of the XX Century and the West European Enlightenment's Tradition (U. Karatkevich and I.V. Gete)	9
<i>Shpakovskiy I.I.</i> Originality of Genre in the Story by Yalentin Rasputin «The Vision»	13
<i>Natalevich O.G.</i> Marriage Symbolism of Midsummer Day in the European Folklore Tradition	18
<i>Smirnova O.A.</i> Narrative Structures of Kievo-Pechersky Pateric Novels	25
<i>Denisova N.V.</i> Problem Author's Translation and Authorised Translation (on Materials of the Translation of I. Melezh's Novel "Direction on Minsk")	31
<i>Laptonak I.B.</i> Problems of Metric Reproduction of Versifications (Based on the Translations by Jazep Semeznon and Vladimir Shaton of the Poem «The Song of the Bison» of Nicolai Gusovski)	35
<i>Hulitskaya T.P.</i> "Apocrisis" (1597) of Chistophor Philalet: Sense-Stylistic Peculiarity of a Polemical Work	40
<i>Kaptshev V.A.</i> The Fate's Motive in the Dramas of In Annensky	44

LINGUISTICS

<i>Rudenka A.M.</i> Computer Science Terminology and Dialects in Russian and Czech	50
<i>Poleshchuk N.V.</i> About the Semantic Structure of the Verbal Vocabulary of the Old Belarusian Law Code "Tribunal" (Vilnya, 1586)	55
<i>Prokopchuk O.G.</i> Conception of Inversion in the Tropes and Figures Byzantine Theory (the Treatise of Georgios Choïroboskos "About Poetic Tropes" (VI Century))	58
<i>Zarembo O.S.</i> The Peculiarity of the Church Slavonic Orthography of the Greek-Slavonic Grammar "Adelphotos" (Lvov, 1591)	63
<i>Melnikova O.N.</i> The Concept of Time as Foundation of Forming of the Meaning of Necessity (Using the Material of East Slavic Languages)	69
<i>Gushcheva O.I.</i> About Semantic Structure and Valence of a Lexem <i>Pamięc</i> in Polish Language	74
<i>Siykhalova N.G.</i> Russian Expressions Denoting the Physical Symptoms of Emotions with Astonishment Meaning in Bulgakov's Novel "The Master and Margarita"	79

JOURNALISM

<i>Vorobijew V.P.</i> Political Journalism: Ways of Formation	85
<i>Potrebin A.U.</i> Daily Newspapers of Belarus: Definition of the Thematic Priorities in the Consecrating of the Economical Problematics	88

PEDAGOGICS

<i>Zyl T.E.</i> The Problem of Studying Author's Style in Methodological Heritage and Literary Education in XVIII–XIX Centuries	92
<i>Khvedchenya L.V.</i> Theoretical Justification for Including the Elements of Culture into Methodology of Foreign Language Teaching	98

REVIEWS

<i>Mechkovskaya N.B.</i> Bibliografia językosnawstwa sławistycznego za rok 1995 z uzupełnieniami za lata 1992–1994	105
<i>Kazakova T.P.</i> S.L. Garanin. On the Roads of Ancient Journeys: Historical and Theoretical Essay of the Development of Belarusian Pilgrim Literature of XII–XVI Centuries	106
<i>Kulesh G.I.</i> «STUDIA RUSSICA, XVIII»	107
<i>Syankevich V.I.</i> A.K. Kiklevich. Lectures on Functional Linguistics	109

CHRONICLE

<i>Zinkevich A.V.</i> International Scientific Conference "Belarusian and Other Slavonic Languages: Semantics and Pragmatics" (for the Memory of Professor A.Y. Suprun)	110
<i>Aleshka T.V.</i> V International Scientific Conference "Slav Literature Within the World Literature Context"	111
Index of Articles Published in 2001 r.	112